Уильям
Голдинг

1983
год
Нобелевская
премия

На край света

[трилогия]



Ритуалы плавания

Уильям Голдинг

Аннотация
Уильям Голдинг. Ритуалы плавания
ПРЕДИСЛОВИЕ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(X)
(12)
(17)
(?)
(23)
(27)
(30)
(Y)
ДЗЭТА
(Z)
(ОМЕГА)
(51)
АЛЬФА
(60)

(61)
БЕТА
ГАММА
ПИСЬМО КОЛЛИ
(&)
МОРЕХОДНЫЕ ТЕРМИНЫ

Аннотация

Одно из самых совершенных произведений английской литературы. «Морская» трилогия Голдинга. Три романа, посвященных теме трагического столкновения между мечтой и реальностью, между воображаемым — и существующим. Юный интеллектуал Эдмунд Тэлбот плывет из Англии в Австралию, где ему, как и сотням подобных ему обедневших дворян, обеспечена выгодная синекура. На грязном суденышке, среди бесконечной пестроты человеческих лиц, характеров и судеб ему, оторванному от жизни, предстоит увидеть жизнь во всем ее многообразии — жизнь захватывающую и пугающую, грубую и колоритную. Фантазер Эдмунд — не участник, а лишь сторонний наблюдатель историй, разыгрывающихся у него на глазах. Но тем острее и непосредственнее его реакция на происходящее…

Уильям Голдинг
Ритуалы плавания

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ученые любезно признают, что, поскольку никто не может описать события прошлого с полной достоверностью, история во многом — продукт нашего воображения. Однако писатель, взявшийся за роман о том, что случилось «давным-давно», обязан уделить этой науке хоть каплю внимания. Перед ним лежит своего рода спектр, на одном конце которого история — назовем ее инфракрасным излучением, а на другом — выдумка — или ультрафиолет. Стоит романисту слишком вольно обойтись с широко известными событиями вроде подписания Декларации независимости или битвы при Ватерлоо, и он обманет ожидания читателей. Признаваться в том, что вы сочиняете исторический роман, нужно с долей юмора, подобно тому, как историк признается, что он изучает чужие фантазии. Все дело в степени этой самой фантазии. Писателю, который более ученого привык ко всяческим отступлениям, запросто хватает собственного багажа знаний, поскольку он легко устает от скучных исследований. Хотите рассказать людям о каком-то событии — впе-

ред, довольствуйтесь тем, что у вас в голове! В конце концов, читатель берет книгу, чтобы развлечься, так что скорее всего встанет на вашу сторону. Разумеется, вольничать можно лишь до определенной границы. Когда у Сартра Кин и принц-регент разгуливают вместе, зритель не спорит с автором, так как понимает, что это комедия. Однако любой, кто знаком с европейской историей, с трудом воспринимает описанную Шиллером встречу королевы Елизаветы и Марии Шотландской. Всем известно, что они никогда не виделись, и авторский вымысел не столько углубляет драму, сколько обесценивает историю. Так давайте уважать ее, когда это возможно!

Перед вами книга, первоначально состоявшая из трех отдельных томов, которые я попытался объединить в трилогию. Честно говоря, принимаясь писать первый том, я и не догадывался, что за ним последуют второй и третий. Только после публикации первого я сообразил, что бросил Эдмунда Тальбота, корабль, всех его обитателей и себя самого на полпути, посреди Атлантики. Пришлось им поплавать еще и во втором томе и сойти на твердую землю в последнем.

В сущности, не мое это дело — описывать, как работаю я или любой другой автор. Но в данном

случае не могу не отметить, что книга сочинялась на редкость странно, если не сказать больше. Во-первых, сцена с посадкой Тальбота на борт, описанием корабля, команды, переселенцев и пассажиров походит скорее на мемуары, чем на вымысел: не зря говорят, что наши фантазии становятся воспоминаниями, а воспоминания перетекают в фантазии. Так или иначе, а начало «Ритуалов» снабдило меня материалом на все оставшиеся книги. Вскользь упомянутые люди начали жить собственной жизнью или, как сказал бы любитель классики Тальбот, из состояния in posse[1] перешли в состояние in esse.[2] Даже старый корабль, главный герой повествования, вынудил персонажей действовать именно так, а не иначе.

Для публикации трехтомника пришлось внести необходимые изменения, исправления и добавления — не говоря уже об исключениях. «Ритуалы» впервые были опубликованы в 1980 году, а «В непосредственной близости» — в 1987-м. Я не заглядывал в предыдущую книгу, когда писал каждую из последующих, надеясь на память,

---

[1] Примечания: 1
потенциально возможный (лат.).

[2] Примечания: 2
настоящий, действительный, существующий (лат.).

которая, как выяснилось, несколько меня подвела. К примеру, когда все три тома оказались под одной обложкой, стало заметно, как некоторые персонажи изменили первоначальную задумку — иногда не в лучшую сторону. Я откорректировал несколько исторических ошибок. Поменял местами полубак и шканцы, здоровенные деревянные надстройки — одним росчерком пера. Вот какое легкое, можно сказать, воздушное, дело — писательство. Еще несколько поправок объединены тайным знанием, о котором поведал мне некий корреспондент. Остальные — результат деятельности профессиональных критиков — читателей, нужно признать, не всегда желанных.

Иногда я шел своим путем. Да, мне прекрасно известно, что Тальбот относится к тому сословию, представители которого почти наверняка обиделись бы, если бы кто-то, пусть даже близкий друг, назвал их по имени. Для них в этом обращении чересчур много личного. Кроме того, они не любят слишком просторечных оборотов. Однако глупо было бы на протяжении многих страниц придерживаться высокопарных фраз, от которых скоро заскучал бы любой читатель. Я предпочел сформировать некий усредненный язык, в котором время от времени проскакива-

ют архаизмы, как напоминание о том, что дело происходит «давным-давно». Существует некий вид критиков, которые уверены, что всякое слово появляется в речи лишь тогда, когда оно внесено в словари. Писатель же, вольно странствующий в цветном, изменчивом, переливающемся мире слов, утверждает — во всяком случае, обязан утверждать, — что любое из них активно используется как минимум одним поколением, прежде чем лексикограф поймает его и пришпилит на страницу. Разумеется, из этого правила существует множество исключений, и словари нужно уважать, не попадая, однако, к ним в рабство — верный путь к скучному, выхолощенному тексту. К примеру, мне мягко попеняли за слово «швабра», которое официально появилось в 1844 году, в то время как мои герои используют его, скажем, в 1813-м. Однако я, в свою очередь, буду очень удивлен, узнай я, что Нельсон, погибший в 1805-м, не знал, что такое швабра, и не видел, как матросы драят ими палубу. И тут мы вплотную подходим к разговору о столь полюбившемся Тальботу морском жаргоне. Сперва я узнал о нем из книг, а позже, во время Второй мировой, и сам поступил на службу в военно-морские силы Великобритании, где жаргон стал одним из немногих

доступных мне удовольствий, и я наслаждался им до такой степени, что к концу войны меня не всегда понимали даже бывалые мореходы. Кто-то, по-моему, Киплинг, сказал, что моряки для всего найдут нужное словечко, и я с ним согласен, даже в тех случаях, когда эти словечки выдумываю я сам.

Так что книга насыщена морским жаргоном и классовостью или, если взять слово, более понятное моим героям, сословностью — предметом очень сложным, если учесть, что мы, британцы, пропитаны ею с рождения и потому почти не замечаем. Тем не менее английские читатели легко вылавливают из текста социальные нюансы, так как в книге они прописаны очень выпукло. Американцы же приходят в некоторое недоумение, кроме разве что жителей Новой Англии, где такая же система царила вплоть до шестидесятых годов и исчезла как раз тогда, когда я к ней привык.

Пару слов про оптимизм, который, по словам некоторых читателей, растет от тома к тому. Что касается Великобритании, Эдмунду Тальботу и его окружению есть чем гордиться. Коалиция стран под предводительством Британии победила Наполеона и теперь они — по крайней мере британцы — правят миром и будут править им

еще не меньше столетия. Кроме того, все три тома, строго говоря, творение рук Эдмунда Тальбота — умного, хоть и чересчур самоуверенного молодого человека. Меня часто обвиняют в пессимизме, так вот — я с этим не согласен. Возможно, именно мой оптимизм водил рукой Эдмунда день за днем, так что я или он, а может быть, и мы не склонны считать жизнь безнадежной и бессмысленной затеей, даже перед лицом бескрайней шири океана и тех трагических обстоятельств, которые сгубили Роберта Джеймса Колли. Я глубоко убежден — считайте это интуицией, или просто моим собственным мнением, — что смешное и грустное, как в книгах, так и вокруг них, — часть изначального Света. Не столько вселенского, сколько всемирного (разницу между вселенским и всемирным определяю я сам, в словарях она не закреплена). Во всяком случае, именно так я думал, когда писал. Я не люблю долгих рассуждений и готов к тому, что меня упрекнут в богохульстве, но все-таки считаю, что есть языки выше, чем язык усталого разума, интуиция тоньше, чем та, которую можно разглядеть в микроскоп или телескоп, пусть даже и космический. Для них нужны метафоры, сложные — вроде этой. Так позволим Эдмунду Фицгенри Тальботу наслаждаться тем

счастьем, которого он способен достичь, а мистеру и миссис Преттимен пасть и преуспеть в их невероятной затее, изведав страсть, на которую Эдмунд никогда не будет способен.

Мой многострадальный корабль отправляется в последнее плавание. А я, пожалуй, извинюсь перед ним за пару неточностей, несколько погрешностей, один серьезный промах, касающийся его устройства, и ворох мелких ошибок, то тут, то там. В конце концов, это я его выдумал и пустил по волнам выдуманного же моря. А он взял да и обрел некую реальность, плотность, позволившую ему распустить паруса, жизненную искру о которой всегда знают, хотя и не всегда говорят моряки. Думаю, о ней догадывается и мечущийся между классикой и романтизмом Эдмунд. Как моряки забывают о войне, так и он забудет смрад и тухлую воду безымянного судна и будет помнить лишь невероятную, поражающую словно бы в самый зрачок белизну залитых лунным светом парусов. Кстати, я ведь придумал судну название. Нашел его в списке кораблей того времени и собирался при случае упомянуть, даже намекал на это, но потом позабыл и намеки и само имя, так что все, кто хотел его узнать, вынуждены довольствоваться только лишь моими

извинениями. Со своей стороны скажу, что был бы рад, прославься мой корабль под славным именем «Доброе чтиво».

(1)

Досточтимый крестный!

Этими словами начинаю я дневник, который вознамерился вести для вас — и нет на свете слов более достойных!

Итак, приступим. Место: наконец-то на борту судна. Год: вам он известен. Дата… Единственное, что следует обозначить, так это то что сегодня первый день моего путешествия на ту сторону света, в знак чего я и поставил в заглавии цифру «один». Ведь именно события этого, первого, дня я и собираюсь описать. Месяцы и дни недели мало что значат для нас, путешественников из Старой Англии к антиподам, учитывая, что по пути мы переживем все четыре сезона.

Нынче утром, перед отъездом, я заглянул к младшим братьям — наказанью божьему для старушки Добби! Братец Лайонел тут же заплясал боевой, как ему казалось, танец аборигенов, а братец Перси хлопнулся на пол и принялся, подвывая, потирать живот, якобы заболевший после того, как он съел меня. Приведя их в чувство парой увесистых шлепков, я спустился вниз, туда,

где ожидали меня отец с матерью. Если вы думаете, что матушка проронила слезинку-другую, то ошибаетесь — из глаз ее хлынул целый поток, да и у меня не слишком-то мужественно сжалось сердце. Что до отца… Приходится признать, что мы отдали дань скорее чувствительности Голдсмита и Ричардсона, чем живости Филдинга или Смоллетта! Ваша светлость мигом убедились бы в моей ценности, услышь вы причитания, раздававшиеся вокруг, точно я был закованным в железо каторжником, а не молодым человеком, назначенным в помощники губернатору одной из колоний Его Величества. Сказать по правде, меня растрогали их слезы, равно как и мой ответный порыв. Все-таки в глубине души ваш крестник — человек неплохой. И в себя он пришел, только когда повозка проехала по аллее мимо сторожки и повернула сразу за мельницей.

Итак, я на судне. Вскарабкался на борт грязной, раздутой посудины бывшей некогда одним из самых грозных боевых кораблей Британской империи. Через отверстие, напоминающее низкий дверной проем, ступил во мрак одной из палуб и чуть не подавился первым же вдохом. Господи, что за смрад! Кругом в душной полутьме творилась какая-то суматоха и суета. Человек,

отрекомендовавшийся моим слугой, проводил меня в клетушку, прилепившуюся изнутри к борту корабля и называемую моей каютой. Слуга немолод, прихрамывает, по обеим сторонам хитрого лица торчат пучки седоватых волос, а на макушке сияет лысина.

— Любезнейший! — обратился я к нему. — Что за жуткий запах?

Слуга по имени Виллер повел острым носом и прищурился, будто пытаясь не только унюхать, но и разглядеть царящую кругом вонь.

— Запах, сэр? Какой запах?

— Запах, — повторил я, прикрывая рукой нос и рот, чтобы не стошнило. — Зловоние, смрад — да как ни назови!

В ответ Виллер улыбнулся, да так солнечно, словно палуба над нами распахнулась, и откуда-то ударил луч света.

— Да привыкнете, сэр! Видит Бог, привыкнете!

— Не хочу я ни к чему привыкать! Где у вас капитан?

Виллер помрачнел и распахнул передо мною дверь каюты.

— Капитан Андерсон, сэр, вам ничем не поможет. Тут, видите ли, песок да гравий. На новых судах балласт железный, а наша-то совсем ста-

рушка. Была б помоложе, ее, может, и почистили бы. А так нет. Боятся лишний раз ковырять, сэр.

— Ну тогда ей самое место на кладбище!

Виллер на минуту призадумался.

— Вот этого, сэр, не знаю, раньше на ней не плавал. А вы вот лучше посидите немного, а я вам бренди принесу.

С этими словами он исчез, прежде чем я решился сделать еще глоток межпалубной вони, чтобы ему ответить. Ну что тут поделать!

Разрешите описать вам мое нынешнее жилище, пока я не добился чего-нибудь более подобающего. Вдоль переборки идет койка с углублением, под ней два встроенных ящика. На одной из стен откидная полка, служащая письменным столом, в углу — парусиновая лохань и ведро. Надеюсь, для отправления естественных нужд на корабле имеется более удобное место! Нашелся в каюте угол и для зеркала, и для двух книжных полок в ногах кровати. Единственный незакрепленный предмет здешней обстановки — парусиновый стул. В двери, на уровне глаз, зарешеченное окошко, через которое проникает слабый дневной свет, а стена напротив увешана крючками. Пол, или, как положено тут его называть, палуба, изрезан бороздами, так что немудрено и лодыжку

подвернуть. Подозреваю, что борозды оставлены пушками в те времена, когда наше судно было быстрее, моложе и могло похвастаться полным вооружением! Стены каюты новые, а вот потолок и стена — или как ее там, переборка? — самого корабля дряхлые, истертые, выщербленные. Вообразите только — поселить меня в эдаком курятнике, в хлеву! Что ж, придется пострадать до тех пор, пока не удастся найти капитана. Тем более что я уже притерпелся к царящей кругом вони, а добрый стакан бренди, принесенный Виллером, и вовсе примирил меня с моей участью.

Однако же здешний деревянный мирок — довольно шумное местечко! Юго-западный ветер, что держит нас у пристани, свистит и гудит над свернутыми парусами этого… — нет, нашего, потому что я решил стать настоящим морским волком! — нашего корабля. Капли дождя выбивают на бортах звонкую дробь. Мало того — от носа до кормы на каждой палубе блеют овцы, мычат коровы, перекрикиваются мужчины и — да-да-да! — щебечут женщины! Шумно даже в моем курятнике. Он — лишь один из доброго десятка таких же, расположенных по обоим бортам корабля и разделенных узким коридором, который прерывается огромным цилиндром

бизань-мачты. В конце коридора, как поведал мне Виллер, находится салон для пассажиров и места общего пользования — по одному с каждой стороны. В салоне разгуливают и собираются группками какие-то смутные фигуры. Судя по всему, это и есть они, то есть мы: пассажиры. А вот почему один из дряхлых линейных кораблей перестроили в плавучий склад, ферму и пристанище для пассажиров, нужно спросить у лордов Адмиралтейства, которым, очевидно, не хватает шести с половиной сотен судов.

Только что Виллер объявил мне, что обед будет подан через час, иными словами, в четыре. В ответ на мои слова о том, что я намерен потребовать для себя более пристойное жилище, он сперва осекся, а потом заметил, что это не так-то просто, и лучше бы мне подождать да поосмотреться. Когда же я выразил негодование по поводу того, что столь жалкое суденышко отправили в столь серьезное плавание, он ответил мне как настоящий моряк: что, мол, Господи, сэр, а что ж ему делать-то, как не ходить туда-сюда, пока не потонет, для того и строили, сэр! И добавил лекцию по поводу того, как хорошо плавать с одним только боцманом да плотником на борту и как легко орудовать старым добрым якорным тросом вместо

железной цепи, которая гремит, что твои кости на виселице, чем склонил мое сердце в пользу духовитого балласта. Кроме того, Виллер не доверяет медным днищам. В общем, я решил, что мы стойки, как корабли древности, не удивлюсь, если нашим первым капитаном был сам Ной. Виллер еще больше успокоил меня, уверяя, что во время шторма наша посудина «будет держаться крепче, чем те, что на вид посерьезней». Крепче! «Потому что, — продолжал он, — если попадем в качку, она по волнам запрыгает, не хуже, чем старый башмак». Честно говоря, после этих слов настроение мое, поднявшееся было после стакана бренди, упало вновь. Тем более что вскоре меня уведомили, что я должен достать из багажа все, что понадобится мне в пути, так как наши вещи унесут вниз, в трюмы! К сожалению, на борту этого злосчастного корабля я не нашел никого, кто был бы ответственен за столь дурацкое распоряжение. Пришлось послушно распаковаться — книги я вытащил самостоятельно, остальное — с помощью Виллера, а потом осталось лишь проводить глазами свои бедные сундуки. Рассердился бы, не будь ситуация такой комичной. Кроме того, я с удовольствием вслушался в беседу уходящих с ними матросов — столько

необычных, выразительных словечек! Засунул под подушку словарь Фальконера и собираюсь к концу пути освоить морской жаргон не хуже этих просмоленных ребят!

ПОЗЖЕ

Мы пообедали при свете широкого кормового окна, за двумя длинными столами, в жуткой неразберихе. Все шло вверх тормашками. Офицеров не было, слуги путались, угощение оказалось ужасным, попутчики-пассажиры нервничали, их спутницы были близки к обмороку. Радовал только вид из окна на другие корабли. Виллер, мой проводник в здешнем мире, объяснил, что это остатки конвоя. Вообще он уверяет, что суматоха на борту уляжется и вскоре, по его словам, мы все утрясемся — полагаю, что не хуже песка с гравием, да и вонять будем, судя по некоторым пассажирам, ничуть не меньше. Вашей светлости может показаться, что я брюзжу. Так вот, если бы не стакан доброго вина, я бы разозлился не на шутку! Наш Ной, капитан Андерсон, так и не дал себе труда появиться. Разумеется, при первой же оказии я представлюсь ему самолично, но сейчас уже слишком поздно. Завтра утром я намереваюсь обследовать окрестности и познакомиться с офицерами поприличнее, ежели

таковые найдутся. Среди пассажиров имеются дамы — и юные, и постарше, и совсем пожилые. Большинство джентльменов также в возрасте, из молодых я заметил только армейского офицера да священника. Последний пробормотал перед едой молитву и принялся за еду с застенчивостью юной невесты. Мистера Преттимена пока не видно, однако полагаю, что он на борту.

Виллер уверяет, что за ночь ветер переменится, мы поставим паруса, снимемся с якоря и с приливом пустимся наконец в дальнее плавание. Я сообщил ему, что считаю себя бывалым мореходом и заметил, как лицо его снова осветилось не то чтобы улыбкой, а неким невольным оживлением. Я решил при первой же возможности преподать малому урок хороших манер, и тут все на корабле пришло в движение, которое продолжается и сейчас, в тот самый миг, когда я пишу эти слова. Кругом стучит и грохочет — по-видимому, развертывают паруса. Свистят дудки. Господи милосердный, неужто человеческое горло может извлекать подобные звуки? Так, а это у нас что? Похоже на сигнальные выстрелы! За дверью моей каморки раздается брань — споткнулся кто-то из пассажиров. Дамы визжат, коровы мычат, овцы блеют. Суматоха страшная! Не удивлюсь, если

сейчас все спутается до того, что замычат овцы, заблеют коровы, а дамы отпустят несколько крепких словечек, проклиная судно со всеми мачтами и посылая его к дьяволу в пекло. Парусиновая раковина, куда Виллер налил воды для умывания, перекосилась и теперь висит под углом.

Мы выдернули якорь из песка и гравия старой Англии. Теперь долгих три года — а может быть, четыре или пять лет! — я не увижу родной земли. Должен признаться, даже мысли о блестящем и интересном будущем не спасают меня от вполне понятной грусти.

И чем же еще, несмотря на грусть, закончить мне описание первого дня на море, как не выражением моей глубочайшей благодарности? Вы помогли мне поставить ногу на первую ступеньку лестницы, и, как бы высоко я ни вскарабкался, — а честолюбие мое, спешу предупредить, безгранично! — я никогда не забуду, чья благородная рука подтолкнула меня кверху. Быть достойным этой руки, никогда не оскорбить ее ни словом, ни действом — вот главное желание, главная молитва вашего крестного сына, Эдмунда Тальбота.

(2)

Я открыл дневник и поставил в начале страницы двойку, хотя понятия не имею, как много мне удастся сегодня написать. Все складывается против обстоятельных сочинений. Члены мои слишком ослабли — здешнее отхожее место, то есть уборная, то есть… прошу прощения, я пока не разобрался, как ее называть — матросы справляют нужду где-то в своей части корабля, ближе к носу, младшие офицеры посещают гальюн, а старшие-даже не знаю, куда ходят старшие. Непреходящая качка и, как следствие таковой, необходимость постоянно подстраивать под нее положение тела…

Ваша светлость дали мне любезный совет описывать все без утайки. Помните ли вы, как вывели меня из библиотеки, дружески придерживая за плечо и восклицая в вашей обыкновенной жизнерадостной манере: «Пишите обо всем, мой мальчик! Ничего не упускайте! Дайте мне прожить жизнь еще раз — вашими глазами!»? Беда лишь в том, что я пал жертвой морской болезни и почти не встаю с койки. Замечу, однако, что сам

Сенека, если помните, покинув Неаполь, оказался в столь же бедственном положении, и ежели даже философа — стоика вывела из равновесия небольшая рябь на воде, чего требовать от нас, простых смертных, в гораздо более бурном море? Не стану скрывать, что качка изнурила меня до слез; именно в таком жалком состоянии, подобающем, скорее, юной барышне, и обнаружил меня Виллер. Все-таки он дельный малый. Я объяснил, что плачу только лишь с непривычки, и он с готовностью со мной согласился:

— К концу плавания, сэр, вы запросто день пробегаете, да еще и ночь пропляшете. А вот возьмите хоть меня или любого другого матроса — посади нас сейчас на лошадь, так кишки в сапоги стрясутся.

Я что-то промычал в ответ и услыхал, как Виллер выдернул пробку из бутылки.

— Вот и корабль объезжать — дело привычки. Не успеете оглянуться, как научитесь.

Не скрою, последние слова согрели меня, но не более чем дивный аромат, который, подобно теплому летнему ветру, окутал, казалось, самую мою душу. Я приоткрыл глаза и — ах! — что за чудесное снадобье приготовил мне Виллер! Знакомый вкус вернул меня в уют детской, и на этот раз

воспоминания не принесли ни тоски, ни горечи. Я отпустил слугу, задремал и даже умудрился поспать. Честное слово, маковая настойка помогла бы Сенеке гораздо лучше любой философии!

Очнулся я от странных видений, в такой кромешной темноте, что не сразу сообразил, где я, но вскоре опомнился и ощутил, что мы прибавили ходу. Кликнул Виллера. После третьего призыва, сдобренного таким количеством брани, которое я обычно не считаю допустимым для джентльмена и просто воспитанного человека, он приоткрыл дверь моей каморки.

— Помогите мне выбраться, Виллер! Я умру без глотка воздуха!

— Да полежите еще, сэр, и вскоре станете как огурчик! А на ногах будете держаться не хуже, чем твой треножник! Сейчас я вам таз подам.

Бывает ли, может ли быть на свете что-нибудь более дурацкое и менее успокаивающее, чем представлять себя в роли треножника? Они тут же поплыли перед моим внутренним взором — самодовольные и чопорные, как методисты на собрании. Я даже выругался, прямо Виллеру в лицо.

И все-таки он оказался прав. По его словам, снаружи ужасный ветер, а моя шинель с тройной

пелериной — слишком ценная вещь, чтобы орошать ее солеными брызгами. Кроме того, туманно заметил он, ему бы не хотелось, чтобы я походил на священника. У Виллера, однако, есть совершенно неношеный дождевик из непромокаемой ткани. Он купил его для джентльмена, которому так и не пришлось отплыть от берега. Дождевик как раз моего размера, и Виллер уступит мне его за ту же цену, за которую покупал сам. А в конце пути, я, если захочу, смогу вернуть его обратно за полцены. Я согласился с этим подозрительным предложением большей частью потому, что задыхался в спертом воздухе и жаждал выбраться наружу. Виллер облачил меня в плащ, натянул на ноги резиновые сапоги и нацепил на голову клеенчатую шляпу. Жаль, что вы, ваша светлость, не можете меня видеть, потому что я являл собой образ настоящего моряка, хоть и держался несколько нетвердо. Виллер помог мне выползти в залитый водой коридор, приговаривая, что хорошо бы нам было отрастить одну ногу подлинней, а другую покороче, как у горных баранов. Я с раздражением ответил, что с тех пор, как недавно, в короткий промежуток мирного времени посетил Францию, я догадываюсь, что палуба может быть под уклоном — ведь не шел

я туда пешком, по воде аки посуху! Выбравшись на шкафут, я повис на левом фальшборте — это такая боковая часть палубы. Надо мной нависал поручень, тянулся выбленочный трос — ах, Фальконер, Фальконер! — и путаница неизвестных мне канатов, в которых гудел и свистел ветер. Еще не стемнело, но откуда-то сверху сыпалась водяная пыль, а плывущие мимо тучи, казалось, задевали верхушки мачт. Мы шли не в одиночку, слева по борту виднелось несколько кораблей конвоя, на которых светились огни, хотя брызги и туманная дымка почти скрыли их из глаз. После спертого зловония каюты я дышал с невероятной легкостью и отчаянно надеялся, что ветреная погода прогонит хотя бы часть смрада. Немного придя в себя, я огляделся и, впервые с тех пор, как мы подняли якорь, обнаружил, что ко мне наконец-то вернулись способность мыслить и интерес к происходящему. Неподалеку виднелись рулевые — две темные, закутанные в дождевики фигуры поочередно склонялись к компасу, который подсвечивал их лица, а потом снова поднимали глаза к верхушкам мачт. Парусов стояло мало, я было решил, что дело в непогоде, однако позднее мой ходячий Фальконер, Виллер, объяснил, что иначе мы двинемся слишком

быстро, а нам нельзя уходить далеко вперед и отрываться от конвоя. Непонятно, откуда он все это знает — если действительно знает, — но, по его словам, с конвоем мы попрощаемся в Уэссоне, оставим там все наши суда и под охраной одного из тамошних кораблей дойдем до широты Гибралтара, после чего двинемся уже в одиночку, отпугивая возможных врагов лишь несколькими пушками да грозным видом! Ну разве это справедливо? Неужели высшие чины Адмиралтейства не понимают, что пускают по водам будущего министра? Надеюсь, они получат меня обратно, словно библейский хлеб.[3] Так или иначе, жребий брошен, рисковать — так рисковать! Я стоял, прислонившись спиной к фальшборту, глотал соленый ветер и не мог наглотаться. Судя по всему, невероятная слабость объяснялась не столько движением судна, сколько душным смрадом каюты.

Дневной свет уже истаял, но я был вознагражден за ночную вахту тем, что почти излечился от дурноты. И тут из коридора на ветреный и просоленный шкафут вышел священник! По-видимому, тот самый, что пытался призвать

[3] Примечания: 3

«Отпускай хлеб твой по водам, ибо по прошествии многих дней опять найдешь его» (Еккл., 11:1).

благословение на пищу нашу во время самого первого обеда, и не был услышан никем, кроме Отца своего. На нем красовались бриджи до колен, длинный плащ, а белые ленточки воротника бились на ветру, как пойманные птицы. Обеими руками он вцепился в шляпу и парик, качаясь из стороны в сторону, точно пьяный краб. Священник развернулся, как сделал бы любой человек, непривычный к крену, и попытался двигаться в сторону подъема палубы. Судя по зеленоватой, цвета сыра с плесенью, бледности, его должно было вот-вот стошнить. Прежде чем я успел окликнуть попутчика, он и впрямь опорожнил желудок и, кроме того, тут же поскользнулся и рухнул на колени. Надеюсь, не молиться собрался! Вставать он принялся в тот самый миг, когда наша посудина подскочила на очередной волне, что придало его движению излишнюю резвость. Несчастный частью засеменил, частью полетел вниз по палубе и запросто выпорхнул бы с левого борта, не сцапай я его за воротник. Не успел я как следует разглядеть мокрую, позеленевшую физиономию, как из коридора выскочил малый, что прислуживает пассажирам по правому борту так же, как Виллер нам, по левому, с извинениями подхватил пассажира под локотки и уволок

обратно. Только я хотел чертыхнуться по поводу того, что мне испачкали новый дождевик, как судно сделало рывок и очередная порция морской воды, смешанной с дождевой пылью, дочиста отмыла грязь. Несмотря на то, что меня при этом хлестнуло в лицо, я снова пришел в хорошее расположение духа. Философия, религия — что значат они, когда дует ветер, швыряясь потоками воды? Я стоял, вцепившись одной рукой в леер, и любуясь тем, как последние лучи солнца освещают царящую вокруг неразбериху. Наш громоздкий, старый корабль, подняв немногочисленные паруса, рассекал воду наискось, как задира, что плечом врезается в толпу. И как задира ради собственной забавы устраивает стычки тот тут, то там, так и судно, встретив какое-либо препятствие, ныряло или, напротив, подпрыгивало, получая водяной заряд прямо в «лицо», так что по шкафуту и палубе прокатывались белые пенные волны. Что ж, судя по всему, я начал, по выражению Виллера, потихоньку «объезжать корабль». Мачты немного клонились. Ванты с наветренной стороны натянулись, с подветренной, напротив, провисли. Между мачтами качнулся громадный трос. И тут мне очень хочется подчеркнуть, что океан, этот великий двигатель,

невозможно понять понемногу, изучая диаграммы в морских словарях. Понимание приходит — если вообще приходит — мгновенно, скачком. В полутьме, в промежутке между двумя волнами, я вдруг ощутил судно и море под ним, не столько механически, сколько… Точно коня под седлом, точно повозку — словом, средство передвижения, которым можно управлять. Я и не ожидал, что это будет так приятно. Вот и еще один штрих, думал я не без самодовольства, еще один ключ к пониманию. Над головой у меня, в нижнем, подветренном углу одинокого паруса, трясся канат, трясся бешено — но понятно! Словно бы для того, чтобы усилить впечатление, в тот самый миг, когда я наблюдал за ним, в нас полетел новый заряд воды и пены, и канат тут же завибрировал иначе — оставаясь неподвижным посередине, он образовал два эллипса, сходившихся к центру, наподобие восьмерки, — что-то вроде точки на скрипичной струне, которая при точном попадании дает звук на октаву выше.

Но у судна струн больше, чем у скрипки, лютни и даже, как я подозреваю, у арфы, так что под руководством учителя — ветра оно рождало какую-то дикую, невероятную мелодию. Через некоторое время я почувствовал, что был бы

не против общества себе подобных, но увы — Церковь, как и Армия, избавили меня от своего присутствия. Дамы наверняка уже почивали в постелях. Что же касается военно-морских сил, они, в прямом смысле слова, были в своей стихии. Их представители виднелись там и сям, лица белели на фоне черных дождевиков. Отойди чуть подальше и покажется, что по палубе просто-напросто рассыпаны камни, омываемые водой.

Когда совсем стемнело, я вернулся в каморку и кликнул Виллера, который, примчавшись по первому зову, вытряхнул меня из дождевика и повесил его на крючок, где он тут же закачался, как пьянчужка. Я попросил фонарь, но Виллер ответил, что это запрещено. Я было вскипел, но он крайне разумно объяснил мне причины подобной строгости. Фонарь опасен — стоит его уронить, и огонь уже не затушишь, однако за умеренную плату я могу получить отличную свечу, которая, падая, гаснет сама собой, хотя я, разумеется, все равно должен соблюдать необходимую предосторожность. Свечи можно купить прямо у него, Виллера. Я удивился, потому что считал, что подобные торги можно вести только с баталером. После недолгой паузы Виллер признал мою правоту, но объяснил, что, по его

мнению, я не захочу связываться с баталером, который обитает не пойми где, в дальнем углу, и редко оттуда показывается. Господа обыкновенно с ним дел не ведут, а посылают слуг, которые следят, чтобы сделка была честной. «Сами знаете, — добавил он, — каковы они, эти баталеры!» Я согласился с легкостью — притворной, ибо я, уже окончательно придя в себя, понял, что стоит за сердечностью и готовностью угодить, с коими служил мне Виллер. Я совершенно переменил свое о нем мнение и решил быть начеку, предугадывая его помыслы и желания раньше, чем он предугадает мои. Таким образом, к одиннадцати часам вечера — шести склянкам по морскому словарю — я сидел за откидным столом, открыв этот самый дневник. И что за чепуху изливаю я на его страницы! Что поделать — покамест я не могу порадовать вашу светлость интересными происшествиями, забавными наблюдениями и, смею надеяться, остротой ума. Так что скажу просто: плавание началось.

(3)

На третий день непогода разгулялась еще хуже, чем в первые два. Судно — во всяком случае, та его часть, что доступна моим глазам — выглядит прежалко. Палуба и наш коридор постоянно залиты и дождевой, и морской водой, да еще и подтухшей. Она легко находит себе дорогу даже под порожек моей каморки, к которому, предположительно, должна прилегать дверь. Разумеется, ничто тут ни к чему не прилегает. Иначе как бы это бестолковое судно ныряло с одной волны на другую? Сегодня утром, пробившись в обеденный салон — где мне, кстати говоря, так и не подали ничего горячего, — я еле-еле вырвался обратно. Дверь заклинило. Я в раздражении дергал и тряс ручку, и вдруг обнаружил, что буквально вишу, вцепившись в нее, потому как чертова посудина снова взбрыкнула, не хуже записной истерички. И это было бы еще полбеды, потому что в следующий миг меня вообще чуть не убило! Дверь распахнулась, так что ручка вместе со мной описала широкий полукруг. От смерти или серьезного увечья меня спас только

инстинкт, подобный тому, что заставляет кошек приземляться на все четыре лапы. Подобное упрямство и затем коварная уступка со стороны двери — предмета, которому я никогда раньше не уделял особого внимания, — показались мне примером столь вопиющей наглости со стороны обычной деревяшки, что я был готов поверить в существование древесных духов (дриад или как их там), которые не захотели покидать свое жилище, переселились в доски, из которых сделан корабль, и вместе с нами вышли в море! Но нет, это была всего лишь — «всего лишь» — Господи, что за слова! — очередная выходка нашего судна, то, о чем Виллер говорил: «скачет не хуже, чем старый башмак».

Я все еще стоял на четвереньках, глядя на пойманную пружинным крючком дверь, когда на пороге показалась фигура, заставившая меня бешено расхохотаться. Это был один из лейтенантов, который осторожно ступал под таким потешным углом к палубе — а ведь я из своего положения только палубу и видел, — что тут же привел меня в хорошее расположение духа, несмотря на все синяки. Я вернулся обратно, к меньшему и, как мне представлялось, более привилегированному из обеденных столов —

тому, что стоял прямо под широким кормовым окном. Разумеется, мебель в салоне надежно закреплена. Не знаю, стоит ли утомлять вашу светлость описаниями «такелажных крепов». Думаю, нет. Итак, представьте: я сижу за столом и пью с вошедшим офицером. Его имя Камбершам, он служит королю и, следовательно, может считаться джентльменом, хотя эль хлебает с таким тошнотворным безразличием к правилам хорошего тона, что походит скорее на извозчика. На вид ему лет сорок, коротко стрижен, волосы растут чуть ли не от самых бровей. Когда-то Камбершаму рассекли голову, поэтому его чтят как героя и уважают, несмотря на дурные манеры. Не сомневаюсь, что до конца пути нам обязательно выпадет случай услышать его историю. Сейчас, по крайней мере, я сумел выудить из Камбершама хоть какие-то сведения. Погода, по его словам, гнусная, однако бывало и похуже. Те пассажиры, что остаются в койках, добавил он, многозначительно поглядывая на меня, и принимают легкие тонизирующие, поступают совершенно верно, так как на судне нет врача и сломанная, как он выразился, конечность испортит жизнь всем вокруг. Врача же нет потому, что даже самые юные и бестолковые хирурги пред-

почитают оставаться на берегу, где возможность заработать гораздо выше. Подход довольно торгашеский, что заставило меня по-новому взглянуть на представителей данной профессии, коих я почитал образцами бескорыстия. В таком случае, заметил я, следует ожидать небывалого всплеска смертности, и нам очень повезло, что на судне есть священник, который сможет совершить все необходимые обряды, с начала и до конца. В ответ Камбершам подавился, отпрянул от кружки с элем и с невероятным изумлением заявил:

— Священник, сэр? Нет у нас никакого священника!

— Поверьте, я его видел.

— Быть не может.

— Но ведь по закону должен быть — на каждом линейном корабле, разве не так?

— Капитан Андерсон не очень боится законов, а поскольку священники тоже не горят желанием служить на флоте, обойтись без них гораздо проще, чем отыскать врача.

— Бросьте, мистер Камбершам! Всем известно, что матросы славятся невероятным суеверием. Наверняка и вам время от времени необходима помощь какого-нибудь Мумбо-Юмбо!

— Только не капитану Андерсону. Равно как,

в свое время, великому капитану Куку. Тот был убежденным атеистом и скорее бы взял на свое судно разносчика чумы, чем попа.

— Боже милосердный!

— Верно вам говорю, сэр.

— Как же тогда… дорогой мой мистер Камбершам! Как тогда поддерживать порядок? Выдерните краеугольный камень — и рухнет вся арка!

Судя по виду мистера Камбершама, мысль моя до него не дошла. Видимо, я выразился чересчур витиевато, пришлось срочно поправляться:

— Офицеров в команде очень немного. Остальные — просто пестрая толпа, от послушания которой зависит порядок на корабле, да что там порядок — успех всего путешествия!

— Они вполне себе справляются.

— Но, сэр, влиятельность нашей Церкви заключается в том, что в одной руке она держит кнут, а в другой — мифический, посмею утверждать, пряник, так что…

Тут мистер Камбершам утер губы черной от загара рукой и встал.

— Не разбираюсь я в этом, — ответил он. — В общем, капитан Андерсон не взял бы на борт священнослужителя, даже если бы было кого.

А тот, что вы видели, не член команды, а пассажир, и священник, судя по всему, совсем еще желторотый.

Я припомнил, как бедный малый пытался вползти вверх по палубе, да еще умудрился опорожнить желудок против ветра.

— Наверное, вы правы. Во всяком случае, моряк из него никудышный.

Затем я обрадовал мистера Камбершама известием, что при первом же удобном случае хочу представиться капитану. Он вытаращил глаза; пришлось объяснить ему, кто я, упомянув имена вашей светлости и его превосходительства, вашего брата, а также подчеркнуть, какой пост я намереваюсь занять при губернаторе — настолько, насколько вообще возможно было это подчеркнуть, учитывая то, второе дело, о котором мы с вами говорили. Кроме того, я подумал о том, о чем не сказал вслух: поскольку губернатор — тоже офицер флота, а мистер Камбершам — типичный представитель морской породы, поучусь-ка я разговаривать с подчиненными — авось пригодится!

Моя речь несколько оживила мистера Камбершама. Он уселся обратно и поведал мне, что никогда раньше не служил на подобном кораб-

ле и уж тем более не ходил в такое плавание. Почти все тут кажется странным не только ему, но и другим офицерам. Мы и боевой, и торговый, и пассажирский корабль, мы и пакетбот — в общем, все на свете, а значит — и тут он продемонстрировал некую прямолинейность мышления, свойственную военным, причем как старшим, так и младшим чинам, — а значит, ничто. В конце пути, пророчествовал Камбершам, наше судно станет на прикол, спустит паруса и будет тешить губернаторскую гордость салютами, пока тот будет прогуливаться туда-обратно.

— Что, возможно, и к лучшему, мистер Тальбот, — угрюмо добавил он. — Да, к лучшему!

— О чем это вы, сэр?

Мистер Камбершам дождался, пока пританцовывающий от качки слуга не нальет нам снова, и сквозь открытую дверь оглядел темный, залитый водой коридор.

— Бог знает, что случится, если мы пальнем из оставшихся на борту пушек.

— Выходит, враг притаился прямо здесь, на палубе?!

— Надеюсь, вы не станете делиться моими опасениями с другими пассажирами. Нельзя их пугать. Я и так наговорил вам больше, чем

следовало.

— Нет, я, конечно, готовился стоически встретить опасность в случае нападения, но что от героической обороны нам станет только хуже, это… это…

— Это война, мистер Тальбот, тем паче, что на море судно в опасности всегда — даже в мирное время. Был ведь и еще один корабль нашего типа — перестроенный военный корабль, я имею в виду, под названием, по-моему, «Хранитель» — да-да, «Хранитель», — который вышел в точно такое же безумное плавание и не дошел до места. Хотя нет, теперь вспомнил: он налетел на айсберг в Южном океане — тут уж ни новизна, ни прочность не спасут.

Я перевел дыхание. Все ясно — по бесстрастию, с которым офицер ронял слова, я понял, что он просто-напросто решил меня припугнуть — верно, за то, что я подчеркнул важность своего положения. Дружелюбно хохотнув, я решил, что пора закруглять беседу. И заодно попрактиковаться в искусстве лести, кою ваша светлость рекомендовали мне в качестве превосходной отмычки.

— С такими офицерами, как на нашем корабле — полными трудолюбия и веры, нам, я уверен, бояться нечего.

Камбершам посмотрел на меня с подозрением, словно ища в последних словах потайной и, возможно, иронический смысл.

— Веры, сэр? Это в каком же смысле?

Нет, самое время, как говорится у нас, мореходов, сменить курс.

— Гляньте-ка на мою левую руку. Вот что творят ваши двери — и синяки, и порезы! Как это у вас говорится — по левому борту? Тогда выражусь, как настоящий моряк: я исцарапал руку по левому борту! Последую-ка, пожалуй, вашему совету: съем что-нибудь, выпью бренди да залягу в койку. Выпьете со мной?

Камбершам помотал головой.

— Я заступаю на вахту, а вы и впрямь набейте желудок. И еще: поосторожней с Виллеровым сонным зельем. Настойка очень крепкая, а цена ее будет расти день ото дня, без всяких разумных объяснений. Стюард! Стакан бренди мистеру Тальботу!

Он кивнул настолько учтиво, насколько это возможно для человека, который стоит наклонившись, будто падает с крыши. Картина на редкость потешная, тем более что на море веселящие свойства крепкого напитка делают ее еще более забавной, чем на суше. Так что мне, похо-

же, пора остановиться. Я осторожно повернулся на закрепленной скамье и обозрел бушующие волны, что вздымались и опадали за кормовым окном. Должен признаться, подобный вид принес мне мало утешения, более того — я вдруг осознал, что даже при самом счастливом исходе плавания, тут нет ни одной волны, вала, буруна или барашка, который мне не придется пересечь еще раз, на пути обратно, пусть даже и через несколько лет. Долгое время я сидел, уставившись в стакан, в крохотное озерцо ароматной жидкости. Зрелище меня не порадовало, единственным утешением стала мысль, что другим пассажирам еще хуже. Она же заставила меня поесть — немного почти что свежего хлеба с сыром. Запил я все это тем самым бренди и ждал, что желудок взбунтуется, но бедное мое нутро, запуганное сперва элем, затем бренди, а следом лечебной настойкой, да еще при полном моем небрежении к его, прости Господи, мольбам о помощи, затихло словно мышка, услышавшая, как кухарка поутру шурует в печи кочергой. Я вернулся к себе и поспал; снова вышел и поел еще раз, а потом засел за дневник и нацарапал при свете свечи вот эти самые строки, предоставив вашей светлости весьма сомнительное удовольствие прожить кусок

здешней жизни «моими глазами», уж простите великодушно. Куда ни ткнись, на корабле плохо всем, от домашних животных до высших — или низших! — существ вроде вашего покорного слуги, разумеется, за исключением запакованных в блестящие зюйдвестки моряков.

(4)

И как вы, ваша светлость, чувствуете себя сегодня? Надеюсь, в добром здравии, не хуже, чем ваш покорный слуга! У меня на уме, на языке, на пере — да на чем угодно! — такая куча событий, что я понятия не имею, как выплеснуть их на бумагу. Короче говоря, дела в нашем деревянном мирке повернули к лучшему. Не то чтобы я совсем превратился в морского волка, ибо хотя теперь ход корабля мне и понятен, выматывает он по-прежнему. Но идем мы все-таки ровнее. Сегодня ночью, когда меня что-то разбудило — видимо, слишком громко отданный приказ, — я почувствовал, что в неуклюжем, неровном движении появилась какая-то плавность. День за днем, валяясь в похожей на корыто койке, я чувствовал, как судно раздвигает воду, как бы подскакивая через неравные промежутки, словно наткнувшийся на препятствие возок. Лежал я головой к носу, ногами к корме и каждый скачок вжимал голову в подушку, вырубленную, казалось, из гранита, и встряхивал жалкие останки тела.

Несмотря на то, что теперь я понимал саму

природу этого подскакивания, оно не перестало быть на редкость неприятным. Итак, в ту ночь на палубе поднялся шум и топот, офицер выкрикивал приказы, которые передавались дальше каким-то адским хором. Я и не знал, несмотря на плавание по Ла-Маншу, что обычную команду можно пропеть, как целую арию: «Спустить паруса!» или, допустим, «Круче к ветру!».

— Легче, легче! — проревел у меня над головой, если не ошибаюсь, тот самый Камбершам, после чего суматоха еще усилилась. Реи стонали так, что я сжал бы зубы, останься у меня на это силы, а затем — о, затем! Ни разу за время путешествия не испытывал я столь незамутненного счастья, если не сказать — блаженства! Движение судна, койки, всего моего тела изменилось разом, в мгновение ока, как будто… Хотя нет, ни к чему увлекаться сравнениями. Я ведь точно знаю, отчего случилось чудо. Мы сменили курс и повернули южнее, на морском языке — на котором я изъясняюсь с растущим удовольствием — пошли в фордевинд.

Судно двигалось мягче, я бы даже сказал, женственнее, что более приличествовало его нынешнему статусу. И я заснул крепким, здоровым сном.

Проснувшись, я не стал совершать никаких глупостей — не спрыгнул с койки, не запел, а просто кликнул Виллера куда более бодрым голосом, чем в любой из тех дней, что прошли со времени моего первого знакомства со всеми прелестями назначения в колонии — однако будет, будет! Я не смогу дать — да вы, я уверен, и не ждете — поминутного описания здешней жизни. Кроме того, мне начало приходить в голову, что дневник не безграничен. Не верю я больше, что добродетельная мисс Памела[4] описывала каждый шаг четко рассчитанного сопротивления домогательствам господина. Так что встану, облегчусь, выбреюсь и позавтракаю я в одном — вот этом — предложении. Следующее застанет меня на палубе, уже в дождевике. И не в одиночку. Ибо хоть погода и не исправилась — ветер дует нам в спину, а точнее, в «плечо» — под прикрытием своего рода стены, образованной переборками юта и шканцев, находиться вполне уютно. Мы напоминаем выздоравливающих, что приехали на воды: уже на ногах, но все еще не верим во вновь обретенную способность ходить или хотя

[4] Примечания: 4

Героиня романа родоначальника «чувствительной» литературы, английского писателя Сэмюэла Ричардсона (1689–1761 гг.) «Памела, или Награждённая добродетель».

бы ковылять.

Боже правый! А поздно-то как! Если не научусь выбирать главное, вскоре поймаю себя на том, что описываю позавчерашний день вместо сегодняшнего! Потому что весь день я гулял, беседовал, ел, пил, обследовал корабль — а сейчас выскочил из койки, повинуясь, как это ни удивительно, настойчивому зову страниц! Оказывается, ведение дневника подобно выпивке — не всегда вовремя остановишься. Надо будет учиться держать себя в руках.

Что ж, продолжим. Очень быстро я обнаружил, что в дождевике ужасно жарко, и вернулся в каюту. Там, учитывая, что мне предстоял почти что официальный визит, я переоделся с особой тщательностью, дабы произвести необходимое впечатление на капитана. Надел шинель и шляпу, правда, последнюю, во избежание утери, подвязал шарфом. Подумывал о том, чтобы выслать вперед Виллера — доложить обо мне, но решил, что это будет уже слишком. Поэтому я натянул перчатки, расправил пелерину, оглядел сапоги и решил, что они в порядке. Вышел, вскарабкался по трапу — это такая широкая лестница, — ведущему на ют и шканцы. Прошел мимо мистера Камбершама с подчиненными и

пожелал ему доброго утра, на кое приветствие он не отозвался, что, несомненно, обидело бы меня, не будья к этому времени осведомлен о его грубых манерах и переменчивом характере.

Поэтому я спокойно направился к капитану, которого легко распознал по щегольской, хоть и изрядно потрепанной форме. Он стоял по правому борту, на шканцах, сцепив руки на спине, в которую дул ветер, и, судя по лицу, был поражен моим появлением.

А теперь мне придется поделиться с вашей светлостью пренеприятнейшим открытием. Каким бы храбрым и доблестным ни был наш морской флот с его героическими офицерами и преданными матросами, на военных кораблях царит ничем не прикрытая тирания! Первая же реплика капитана Андерсона — если грубое ворчание можно назвать репликой, — поданная в тот самый момент, когда я рукой в перчатке коснулся шляпы и намеревался назвать свое имя, прозвучала на редкость неучтиво:

— Какого черта, Камбершам? Они, что, правил не читают?

В замешательстве я даже не запомнил, что ответил Камбершам — если он вообще хоть что-нибудь ответил. Мне показалось, что в силу

какой-то невероятной, нелепейшей ошибки капитан Андерсон вот-вот готов меня ударить! Я, не теряя ни минуты, громким голосом представился. Капитан в ответ разошелся еще пуще и разозлил бы меня, не отметь я полную абсурдность происходящего. Все мы — я, капитан, Камбершам, его подчиненные — опирались на одну ногу, прямую, как столб, а другую ритмично сгибали и разгибали в такт покачиванию палубы. У меня вырвался смешок — возможно, не слишком учтивый, но грубиян заслужил отпор, пусть даже и невольный. Андерсон действительно осекся, хоть и побагровел еще сильнее, что дало мне возможность выпалить ваше имя, подкрепив его именем его превосходительства, вашего брата, — так путник на большой дороге выдергивает пару пистолетов, чтобы отогнать разбойника. Сперва капитан заглянул — надеюсь, вы простите мне сравнение — в дуло вашей светлости, понял, что вы заряжены, кинул осторожный взгляд на посла в другой руке и отпрянул, оскалив желтые зубы! Редко удается увидеть лицо столь обескураженное и в то же время злобное. Судя по всему, капитан — человек настроения. Упоминание вашего имени, равно как и дальнейшее приветствие ввели меня в круг приближенных, хоть и

на самый его край, и я почувствовал себя посланником в Порте,[5] который может ощущать себя в относительной безопасности, когда кругом летят отрубленные головы. Уверен, капитан Андерсон расстрелял бы меня, повесил на рее, протащил под килем, не возьми благоразумие верх над его первым порывом. Так или иначе, если сегодня, когда французские часы в вашей гобеленовой гостиной пробили десять, а судовой колокол тут, у нас, четыре раза, если в это самое время ваша светлость испытали внезапный прилив хорошего настроения, знайте: хотя не могу ручаться до конца, возможно, все потому, что изукрашенное серебром ружье благородного имени все еще действует на людей среднего сословия!

Пару секунд мы пережидали, пока капитан Андерсон проглотит оскорбление. А потом… Он крайне уважает вашу светлость и даже не думал каким-то образом ущемлять вашего… вашего… он надеется, что я удобно устроился… он просто-напросто не сразу узнал… дело в том, что правила придуманы для пассажиров, чтобы те без приглашения не лезли на шканцы, но, разумеется, в моем случае (зверский взгляд, способный на-

---

[5] Примечания: 5

Блистательная, Высокая, Оттоманская Порта (название султанской Турции).

пугать и волкодава)… я всегда буду желанным гостем. Мы стояли в тени бизань-мачты (спасибо, Фальконер!), пружиня на одной ноге и колыхаясь, как камыш на ветру. Затем, к моему изумлению, вместо того, чтобы остаться на своем законном месте, капитан вскинул было руку к фуражке, но тут же сделал вид, что просто поправил ее, скрывая тем самым невольное почтение к вашей светлости. Отвернулся к поручню и остался стоять там, сцепив руки за спиной и судорожно сжимая и разжимая пальцы — невольное свидетельство обуревавшей его злобы. Я даже почувствовал что-то вроде сострадания к сбитому с толку повелителю крохотного королевства, однако решил, что сейчас не время для жалости. Настоящие политики не гнушаются применить силу, чтобы добиться цели. Пусть ошеломление от нашей первой встречи продлится как можно дольше, а потом, когда истинная картина дел полностью уляжется в озлобленном мозгу Андерсона, можно будет снизойти и до более дружелюбного разговора. Путешествие впереди долгое, и облегчать тяжелую долю капитана — отнюдь не моя забота, да и, честно говоря, не больно-то и хотелось. Сегодня, как вы, наверное, уже поняли, я в прекрасном настроении. Время, вместо

того, чтобы плестись походкой улитки — раз мы допускаем, что краб может быть пьяным, то и у улитки может обнаружиться походка, — так вот, вместо того, чтобы плестись, время бежит, если не сказать — несется мимо меня. Я не записал и десятой доли того, что случилось за день, однако уже поздно, продолжу завтра.

(5)

Все в тот же, четвертый день — хотя сейчас на самом деле уже пятый… в общем, продолжаю.

После того как Андерсон отвернулся к поручню, я еще некоторое время оставался на шканцах, пытаясь втянуть в беседу мистера Камбершама. Он отвечал чрезвычайно скупо, и я наконец сообразил, что его стесняет присутствие капитана. И все-таки мне не хотелось так скоро покидать шканцы — это смахивало бы на отступление.

— Камбершам, — начал я. — Мы движемся с большей плавностью, чем раньше. Покажите мне судно. Или, если вы заняты, отрядите со мной вот этого молодого человека в качестве проводника.

Я имел в виду его помощника, гардемарина — не того, старой школы, каких помните вы: застрявших в низшем звании, как козел в кустах, — а представителя новой породы, что заставила бы дрогнуть любое материнское сердце — прыщавого юнца лет четырнадцати-пятнадцати, которого, как я выяснил позже, следовало именовать молодым человеком. Пока Камбершам думал, что мне ответить, паренек переводил

взгляд с него на меня и обратно. Наконец лейтенант велел мистеру Виллису следовать за мной. Таким образом, я убил сразу двух зайцев: с достоинством покинул священную территорию и захватил с собой одного из ее обитателей. Когда мы спускались по трапу, до нас долетел голос Камбершама:

— Мистер Виллис, мистер Виллис! Не забудьте ознакомить мистера Тальбота с уставом для пассажиров! И передайте мне его замечания, ежели таковые найдутся!

В ответ на его слова я только хохотнул, хотя мистера Виллиса они, похоже, нисколько не позабавили. Проводник мой не только прыщав, но и бледен, а рот предпочитает держать открытым. Он осведомился, что бы я хотел посмотреть, о чем я не имел ни малейшего понятия, потому что прихватил его со шканцев просто затем, чтобы удалиться поторжественнее. Поэтому я кивнул на нос судна.

— Прогуляемся в ту сторону. Хочу поглядеть, как живет команда.

Виллис с некоторой неохотой повел меня в тени шлюпок через белую линию у грот-мачты и между загонами, где содержался скот. Затем он обогнал меня и первым поднялся по трапу на по-

лубак, где я увидал кабестан, несколько лежаков и женщину, которая ощипывала курицу. Подойдя к бушприту, я поглядел вниз и понял, насколько же древняя у нас старушка. Я про корабль — остроносый, по моде прошлого столетия, и порядком потрепанный, что видно даже отсюда, с носа. Я осмотрел символ — гигантскую резную фигуру, которую матросы, по своему обыкновению, превратили в то, о чем я даже не хочу упоминать, дабы не оскорблять вашу светлость. Сам вид этих людей, присевших на корточки по своей надобности, был на редкость неприятен, а ведь некоторые из них еще и подняли головы, дерзко уставившись прямо на меня! Я отвернулся и стал оглядывать широкую палубу и простершиеся за ней еще более широкие, темно — синие просторы океана.

— Что ж, сэр, — обратился я к Виллису, — мы и впрямь находимся επ' ευρεα νωτα Θαλαασσης,[6] не так ли?

Виллис ответствовал, что французского он не знает.

— А что вы в таком случае знаете, молодой человек?

---

[6] Примечания: 6

«На хребтах беспредельного моря» (греч.) (Гомер, «Илиада», пер. Н. Гнедича).

— Оснастку, сэр, строение судна, шпангоуты, морские узлы, компасные румбы, сажени на лотлине и еще, как солнце пристреливать.

— Вижу, мы в надежных руках.

— Это не все, сэр. Знаю, как ружье устроено, как опреснять воду, и даже военный устав.

— Военный устав опреснять нельзя, — серьезно поправил я. — Сейчас самое время задать французам соли и перцу! Что ж, на мой взгляд, ваша голова набита познаниями не хуже, чем шкатулка для шитья моей матушки — всяческим тряпьем. Только за что же вы хотите пристрелить солнце? Чем обидело вас наше светило?

— Да вы меня дразните! — оглушительно расхохотался Виллис. — Даже сухопутные, прошу прощения, знают, что это значит — определять высоту.

— Прощаю вам «даже», сэр. И когда же вы этим займетесь?

— Посмотреть хотите? Да через несколько минут, в полдень. Мистер Смайлс придет, мичман, мистер Дэвис и мистер Тейлор — два других гардемарина, сэр, только мистер Дэвис на самом деле мало что соображает, слишком уж старый, а у мистера Тейлора, моего друга — вы только капитану не говорите — секстан сломанный,

потому что тот, что дал ему отец, он заложил. Поэтому мы договорились: брать мой по очереди и называть высоту с разницей в две минуты.

Я схватился за голову.

— Так вот на какой паутинке висит безопасность всего корабля?!

— Чего, сэр?

— Боже правый, да с тем же успехом можно было довериться моим братишкам! Выходит, наше местоположение определяет выживший из ума гардемарин да сломанный секстан, так, мой мальчик?!

— Господи, да нет же, сэр! Во-первых, мы с Томми хотим уговорить мистера Дэвиса поменяться: его хороший на тот, что у Томми. Потому что мистеру Дэвису все равно на что глядеть. А потом ведь и капитан, и мистер Смайлс, и другие офицеры — они тоже свое дело делают.

— Понятно. То есть вы не просто стреляете по солнцу, а даете по нему целый бортовой залп. Что ж, погляжу, а может, и сам выстрелю — зря мы, что ли, вокруг него крутимся!

— Мы не крутимся, сэр, — ласково объяснил Виллис. — Мы просто ждем, пока солнце не поднимется, и измеряем угол, когда оно находится в самой высшей точке, ну и время замечаем тоже.

— Послушайте, друг мой! Вы буквально возвращаете нас в Средние века! Не удивлюсь, если скоро мы начнем цитировать Птолемея.

— Не знаю я никакого Птолемея. Просто жду, когда солнце выше всего будет — вот и все.

— Но ведь это не более чем видимое движение, — терпеливо втолковывал я. — Неужели вы не слышали о Галилео и его «а все-таки она вертится»? Земля обращается вокруг солнца. Ее путь описан Коперником и подтвержден Кеплером!

Ответ мистера Виллиса поражал как редким невежеством, так и истинным благородством:

— Сэр, уж не знаю, как ведет себя солнце с вами, господами сухопутными, но у нас, у военных моряков, оно ходит по небу.

Я захохотал и положил руку ему на плечо.

— Так тому и быть. Пусть ходит как хочет. Сказать по чести, мистер Виллис, я так рад видеть солнце в небе, в окружении снежно-белых облаков, что, будь на то моя воля, позволил бы ему и джигу сплясать. Смотрите-ка: ваши друзья собираются. Бросайте меня и бегите к инструментам.

Мальчишка поблагодарил меня и исчез. Я остался стоять на полубаке, наблюдая за церемонией, которая, надо отметить, меня просто очаровала. На шканцах собралось несколько офи-

церов, которые наблюдали за солнцем, поднося к лицу латунные треугольники. Действо оказалось очень любопытным. За ним с интересом следили не только оказавшиеся в тот момент на палубе моряки, но и некоторые переселенцы. Последние смысла расчетов скорее всего не понимали. Я-то немного соображал, что происходит, в силу полученного образования, врожденной любознательности и легкости в обучении. Даже пассажиры — те из них, кто вышел проветриться — во все глаза уставились на происходящее. Я бы не удивился, если бы джентльмены обнажили головы. Но и люди — простые люди, чьи жизни не меньше нашего зависели от аккуратности измерений, бывших для них не яснее китайских иероглифов, так вот, эти люди взирали на ритуал с почтительностью, сродни религиозной. Подозреваю, что вы, как и я, решили бы, что блестящие инструменты для них — своего рода шаманство. И хотя невежество мистера Дэвиса и сломанный секстан мистера Тейлора представляли собой колосс на глиняных ногах, мне показалось, что зрители верят скорее в могущество старших офицеров. Видели бы вы их, этих зрителей! Женщина, что щипала курицу, так и застыла с нею в руках. Два парня, несущие наверх девушку, которой,

судя по всему, было совсем плохо, замерли, забыв про бессильно свисающую ношу, словно кто-то сказал им: «Тс-с-с-с!». В конце концов девушка повернула голову и уставилась туда же, куда и ее спутники. В этом всеобщем внимании была какая-то трогательная нотка, словно во взгляде собаки, которая, не в силах понять людской беседы, все же следит за ней с искренним интересом. Я не знаюсь, как вашей светлости должно быть известно, с теми, кто одобряет жестокие причуды демократии, что в нынешнем, что в прошедшем столетии. Но в тот миг, когда я увидел матросов, замерших в столь напряженном ожидании, я по-новому взглянул на такие понятия, как «долг», «честь» и «достоинство». Они покинули страницы книг, школьные и университетские аудитории и вошли в повседневную жизнь. До тех пор, пока я не увидел как люди, подобно голодным овцам Мильтона, «глядят снизу вверх»,[7] я не понимал природы своих собственных честолюбивых целей, не видел им объяснения, которое предстало предо мной только теперь. Простите, что утомляю вас открытием, которое вам, должно быть, давно известно.

---

[7] Примечания: 7

Образ из поэмы английского поэта Джона Мильтона (1608–1674 гг.) «Люсидас».

А как красиво было кругом! Судно бежало, подгоняемое ровным, без порывов, ветром, волны сверкали, облачка затейливо отражались в глубоких… и так далее, и так далее, и так далее. Солнце, по-видимому, вовсе не пострадало от наших бортовых залпов! Я спустился по трапу и вернулся к навигаторам, которые как раз расходились со шканцев. Мистер Смайлс, штурман, уже немолод, хотя и моложе, чем мистер Дэвис, старший гардемарин — древний, как само судно. Последний сошел на ту палубу, где стоял я, и полез еще ниже, сутулясь и ковыляя, будто театральный призрак, сходящий в могилу. Когда он исчез, ко мне подошел мой юный проводник, мистер Виллис, и церемонно представил мистера Томми Тейлора. Последний двумя годами моложе Виллиса, но бодрей и крепче своего старшего товарища, да к тому же родился и вырос в морской семье. Мистер Тейлор тут же сообщил мне, что у мистера Виллиса чердак прохудился, и если мне захочется узнать что-нибудь про навигацию, нужно обращаться к нему, мистеру Тейлору, а то мистер Виллис живо направит меня прямиком на скалы. К примеру, позавчера он сообщил мистеру Деверелю, что на шестидесяти градусах северной широты градус долготы уменьшается

до полумили. А когда мистер Деверель спросил — шутя, конечно! — насколько же он уменьшится на шестидесяти градусах южной широты, мистер Виллис ответил, что не знает, до этого места в книжке он еще не дочитал. Описывая нелепейший промах товарища, мистер Тейлор залился радостным хохотом, который мистера Виллиса нисколько не обидел. Он обожает своего младшего друга, гордится им и искренне ему предан. Представьте теперь, как я расхаживаю туда-сюда, до грот-мачты и назад, в окружении юных приспешников: по правому борту младший — задорный, полный жизни, шуток и сведений о море, по левому — старший — молчаливый, улыбчивый, кивающий с открытым ртом в такт любому слову товарища обо всем, что творится под солнцем и даже на солнце!

Именно от этой бодрой парочки я узнал кое-что про остальных пассажиров — тех, разумеется, кто расквартирован на корме. Вот семья Пайков, все четверо очень дружны между собой. Вот всем нам известный мистер Преттимен. В каюте между моей конурой и обеденным салоном расположился, о чем сообщил мне развитый не по годам мистер Тейлор, художник-портретист с женой и дочерью, которую вышеупомянутый юный

джентльмен охарактеризовал словами «цыпочка что надо!». В устах мистера Тейлора это звучит как высшая похвала. Ваша светлость наверняка догадались, что присутствие на борту прекрасной незнакомки добавило мне воодушевления.

Мистер Тейлор прошелся бы по всему списку пассажиров, но в тот момент, когда мы примерно в двадцатый раз возвращались от грот-мачты, священник — да-да, тот самый священник, которого недавно стошнило прямо на меня, — высунулся из пассажирского коридора. Он повернул было к трапу, как вдруг узрел нашу троицу и, по-видимому заподозрив во мне важную птицу, остановился и удостоил меня поклоном. Заметьте, я не назвал его жест ни кивком, ни приветствием, ибо он именно склонился, извиваясь всем телом. Поклон довершила улыбка, бледная и подобострастная, и некое колыхание, напоминающее неуверенное движение нашего судна, — отвратительный жест, вызванный всего-навсего моим обликом джентльмена. В ответ я слегка коснулся пальцами полей шляпы, внимательно оглядывая попутчика. Он уже карабкался по трапу, ставя под немыслимым углом ноги в толстых шерстяных чулках и грубых ботинках — не иначе, как колени его, закрытые подолом

длинного черного сюртука, разведены гораздо шире, чем у обычных людей. На голове у священника красовался круглый парик и круглая же пасторская шляпа; он показался мне одним из тех людей, мнение о которых не улучшится даже при более близком знакомстве. Не успел он отойти, как мистер Тейлор высказал предположение, что «небесный лоцман» собрался на шканцы, в гости к капитану Андерсону, и там ему не поздоровится.

— Не читал он капитанских правил, — поддержал я, как человек уже поднаторевший и в капитанах, и в их правилах, не говоря уж о военных кораблях. — Ох, протащат его под килем.

Мысль о том, как священника тащат под килем, невероятно впечатлила мистера Тейлора. Когда мистер Виллис тычками привел его в чувство, то он, вытерев слезы и проикавшись, сообщил, что ничего веселее в жизни не слыхал, и снова взорвался хохотом. В этот самый миг со шканцев раздался рев, окативший мальчишку, как ведро ледяной воды. Мне казалось — нет, я был уверен, — что капитан кричит на незваного гостя, однако оба юнца подскочили в таком ужасе, будто их зацепило осколками разорвавшегося где-то поблизости капитанского гнева. Судя по всему,

Андерсон прекрасно держал в узде всю команду — от Камбершама до этих желторотых птенцов. Что касается меня — мне было достаточно одного свидания с капитаном в сутки.

— Пойдемте-ка отсюда, ребята, — предложил я. — Оставим капитана и слугу божьего разбираться между собой, а сами отойдем в укрытие, подальше от разрывов.

Мы торопливо ретировались в коридор.

Я уже был готов отпустить помощников, когда над нашими головами, сперва по палубе, затем по ступенькам, раздался топот, перешедший в стремительное цоканье подбитых железом каблуков, которые, скользнув, с грохотом обрушили своего хозяина к самому подножию трапа! Какой бы ни была моя неприязнь к, выразимся так, излишней набожности этого пассажира, из простого человеколюбия стоило посмотреть, не нуждается ли он в помощи. Но не успел я сделать и шагу, как священник сам ввалился нам навстречу, сжимая в одной руке парик, а в другой — шляпу. Пасторские ленточки сбились на один бок. Но больше всего меня поразило — нет, даже не выражение — а какая-то общая перекошенность лица. Боюсь, тут мое перо бессильно. Представьте, если сможете, бледную, искривленную физиономию, которую

природа не оделила ничем выдающимся, кроме самых примитивных черт, физиономию, на которую она пожалела плоти, не поскупившись при этом на кости. Широко распахните рот, вставьте в провалы под узким лбом пару вытаращенных глаз, из которых вот-вот брызнут слезы, — представьте все это, твержу я вам, и вы все равно будете далеки от того комичного и униженного существа, что на миг предстало моим глазам. Бедняга дернул дверь своей каюты, проскочил внутрь и загремел задвижкой.

Мистер Тейлор снова захохотал. Я сжал пальцами его ухо и вывернул так, что хохот превратился в вопль.

— Позвольте донести до вас, мистер Тейлор, — не гром ко, как того требовали обстоятельства, приговаривал я, — что джентльмен не радуется несчастью ближнего своего. Можете поклониться и идти, оба. Уверен, когда-нибудь мы повторим нашу прогулку.

— Господи, да, конечно, сэр! — ответил юный Томми, явно посчитавший посягательство на его ухо жестом дружеской привязанности. — Когда хотите!

— Ага, сэр, — простодушно добавил Виллис. — Мы заодно урок по навигации прогуляли.

Они ретировались по трапу, ведущему, по их словам, в шкиперскую — наверняка очередная зловонная дыра. Некоторое время я еще слышал звонкий голос мистера Тейлора:

— Спорим, он ненавидит попов больше всего на свете?

Я вернулся в каюту, кликнул Виллера и велел ему стянуть с меня сапоги. Он исполнил приказе готовностью, заставившей меня заподозрить, что другие пассажиры не пользуются его услугами. Что ж, их дело, мне же лучше. Каюты по той стороне коридора обслуживает другой человек — по-моему, его имя Филлипс.

— Скажите-ка мне, Виллер, — начал я, в то время как он пытался половчее согнуться в тесном пространстве каюты. — Почему капитан так не любит священников?

— Чуть-чуть повыше, сэр, если не возражаете. Вот так, спасибо. Теперь вторую, будьте добры.

— Виллер!

— Понятия не имею, сэр. Не любит? Он сам так говорил?

— Его рев слышал весь корабль!

— На флоте мало священников, сэр. Их и так-то не хватает, а те, что есть, предпочитают служить на суше. Позвольте, я еще раз почищу, сэр. Теперь

плащ…

— Кроме того, один юный приятель подтвердил мне, что капитан Андерсон ненавидит попов, а еще раньше о том же говорил лейтенант Камбершам.

— В самом деле, сэр? Спасибо, сэр.

— Разве не так?

— Вот уж не знаю, мистер Тальбот, сэр. А хотите я вам еще порцию настойки принесу? Мне казалось, вы находите ее весьма действенной.

— Нет, спасибо. Как видите, я одолел демона.

— Это сильное средство, сэр, как и заметил мистер Камбершам. А поскольку к концу пути его остается все меньше, то и платить приходится больше. Так оно естественно происходит, сэр. Говорят, один джентльмен, из сухопутных, об этом даже книжку написал.[8]

Я распорядился, чтобы он оставил меня в покое, и улегся в койку, пытаясь вспомнить, который день мы в плавании. Взял дневник и понял, что шестой, а значит, я ввел в заблуждение как вашу светлость, так и себя самого. Не успеваю, да пытаться не стану идти в ногу со всеми событиями. По самым грубым подсчетам, я уже нацарапал

---

[8] Примечания: 8

Имеется в виду труд Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов».

около десятка тысяч слов и должен сдержать себя, иначе роскошная обложка вашего подарка просто не вместит моего путешествия. Неужели я избежал демона опия только для того, чтобы пасть жертвой juror scribendi?[9] Что ж, если ваша светлость пролистает… Прошу прощения — в дверь постучали. Это Бейтс, который прислуживает в пассажирском салоне.

— Мистер Саммерс шлет мистеру Тальботу заверения в совершеннейшем почтении и осведомляется, не желает ли мистер Тальбот испить стакан вина в его обществе?

— Мистер Саммерс?

— Старший лейтенант, сэр.

— Самый главный после капитана, не так ли? Передайте мистеру Саммерсу, через десять минут я буду счастлив с ним увидеться.

Пусть не капитан, но его правая рука! Ну что ж! Мы входим в высшее общество!

---

[9] Примечания: 9
Страсть к сочинительству (лат.).

(X)

На самом деле это седьмой… или пятый… а возможно, и восьмой день путешествия — в общем, пусть цифра «десять» сыграет свою роль и обозначит забытое мною число. У времени появилось обыкновение застывать на месте, так что вечерами или ночами, когда я пишу в дневнике, свеча истаивает незаметно — как растут в пещерах сталактиты и сталагмиты. А потом его вдруг — раз! — и не хватает, и непонятно, куда делось.

О чем это я? Ах да! Итак…

Я явился в пассажирский салон на рандеву со старшим офицером лишь для того, чтобы обнаружить, что его любезное приглашение относилось ко всем пассажирам и служило не более чем коротким вступлением к обеду. Позже я узнал, что такого рода собрания — традиция на почтовых и пассажирских кораблях, когда леди и джентльмены пускаются в плавание по морю. Офицеры решили ввести ее и на нашем судне, чтобы сгладить, как мне показалось, грубые и категоричные капитанские «Правила поведения для пассажиров, допущенных — обратите внима-

ние: «допущенных», а не «приглашенных»! — на борт».

Я открыл дверь и, представленный, как полагается, вошел в оживленный салон, который больше всего походил на общий зал в каком-нибудь постоялом дворе. О море напоминал лишь покачивающийся горизонт, что синел в широком кормовом окне. Звуки моего имени на миг заставили всех замолчать, в то время как я осматривал скопище бледных лиц, не в силах отличить одно от другого. Затем вперед выступил хорошо сложенный, двумя-тремя годами старше меня, молодой человек в морской форме. Он представился Саммерсом и предложил мне познакомиться с лейтенантом Деверелем, что я и сделал. Из всех офицеров Деверель более всего напоминает настоящего джентльмена. Он стройнее Саммерса, с каштановыми волосами и носит бакенбарды, но подбородок и верхняя губа чисто выбриты, как это принято у моряков. Мы обменялись приветливыми взглядами, и мне показалось, что он, так же, как и я, не прочь продолжить знакомство. Далее Саммерс сказал, что я должен познакомиться с дамами, и провел меня к той единственной, которую я успел заметить. Она сидела по правому борту салона на

чем-то вроде скамьи и, несмотря на внимание присутствующих мужчин, вид имела суровый. Неопределенного возраста, в шляпке, которая позволяла прятать не только голову, но и почти все лицо — скорее укрытие, чем предмет туалета, возбуждающий любопытство мужчин, и веером платье, вроде тех, что носят квакерши. Дама сидела, сложив руки на коленях, и беседовала с молодым армейским офицером, который, улыбаясь, глядел прямо на нее.

— ...сама обучала их подобным играм. Безобидная забава для юных джентльменов и не последнее умение для юных дам. Молодая особа, лишенная музыкальных способностей, может занять гостей картами, точно так же как другая развлечет их игрой на арфе или же ином инструменте.

Офицер ухмыльнулся, спрятав подбородок в воротник.

— Рад слышать, мадам. Однако на моих глазах в карты играли в более чем злачных местах, уверяю вас.

— О них, сэр, я, разумеется, не имею ни малейшего понятия, но ведь правила игры не портятся сами по себе, в зависимости от того, в каком месте в нее играют? Я говорю о том, чему сама

была свидетелем: о том, как играют в приличных домах. Впрочем, в моем понимании юной девушке, кроме умения играть, скажем, в вист, необходимо… — Не удивлюсь, если по лицу дамы скользнула усмешка, так как в ее голосе прозвучала явная ирония. — …Необходимо умение мило проигрывать.

Высокий офицер зашелся каркающим смехом, а мистер Саммерс воспользовался оказией, чтобы представить мне пассажирку по имени мисс Грэнхем. Я признался, что подслушал часть беседы, и ощутил себя полным невеждой, так как не разбираюсь в правилах игр, которые они обсуждали. Мисс Грэнхем повернулась ко мне, и я увидел, что передо мной хоть и не «цыпочка» мистера Тейлора, черты ее, освещенные любезной улыбкой, можно назвать вполне приятными. Я вознес хвалу невинным радостям, которые даруют нам карточные игры, и выразил уверенность, что несколько уроков, которые я надеюсь получить у мисс Грэнхем, скрасят долгие часы путешествия.

Тут-то и крылся роковой просчет. С лица новой знакомой мгновенно исчезла улыбка.

Слово «уроки» не несло для меня никаких неприятных оттенков. Для меня — но не для собеседницы.

— Да, мистер Тальбот, — процедила она, и на щеках ее выступили красные пятна. — Как вы совершенно правильно поняли, я гувернантка.

В чем же я провинился? Какую совершил оплошность? Вероятно, эта женщина ожидала от жизни гораздо большего, чем получила, и оттого язык ее превратился в спусковой крючок, как у дуэльного пистолета. Клянусь вашей светлости, эдаких не переделаешь, и самое умное в разговоре с ними — молчаливо внимать. Уж такие они, причем заранее этого не видно, как дикой утке не видно капкана. Делаешь шаг и — щелк! — его челюсти защелкиваются прямо у тебя на лодыжке. Хорошо тем, чье положение в обществе ставит их выше трений, вызванных социальным неравенством. Мы же, бедняги, вынуждены общаться или, лучше сказать, вращаться среди людей разных; зачастую вовремя уловить мелкие, почти невидимые отличия так же трудно, как разглядеть то, что католики называют «движениями души». Однако вернемся. Не успела мисс Грэнхем договорить свое возмущенное «я гувернантка», как я уже понял, что ненароком оскорбил ее.

— Ну так что же, мадам, — заворковал я успокаивающе, не хуже маковой настойки Виллера, — ваша профессия — самая нужная и благородная

среди тех, что выбирают для себя женщины. Не могу передать, что значила для меня и братьев мисс Добсон — наша старая Добби! Думаю, вы так же уверены в горячей привязанности ваших юных воспитанников, как она — в нашей!

Неплохо сказано, не так ли? Я поднял стакан, словно салютуя славному племени гувернанток, хотя на самом деле пил за собственную изворотливость, позволившую в последний момент выскользнуть из-под дула ружья или из челюстей капкана.

Однако рано я радовался.

— Если, — жестко произнесла мисс Грэнхем, — я и уверена в горячей привязанности юных воспитанников, то это единственная вещь, в которой я вообще уверена. Дочь покойного каноника Эксетерского собора, которой по воле обстоятельств пришлось принять предложение семьи с другого конца света, ценит привязанность воспитанников чуть ниже, чем вы.

И вот я бьюсь в силках — совершенно незаслуженно, если вспомнить, как я пытался пригладить перышки мисс Грэнхем. Пришлось поклониться и заверить, что готов служить ей, когда понадобится. Олдмедоу еще глубже спрятал подбородок в воротник и тут явился Бейтс с хе-

ресом. Я допил свой стакан и взял новый, просто чтобы замаскировать неловкость; к счастью, меня спас Саммерс, сказав, что со мной будут рады познакомиться и другие. Я ответил только, что и не знал, как нас много. Крупный, цветущий господин с голосом густым, как портвейн, объявил, что хотел бы написать групповой портрет, так как за исключением его благоверной и дочурки, тут собрались все пассажиры. Мистер Вике, бледный молодой человек, который вроде бы собирается основать школу, заметил, что переселенцы могли бы образовать живописный фон.

— Нет-нет, — отказался художник. — Я собираюсь запечатлеть только дворянство.

— Эмигранты? — подхватил я, радуясь перемене темы. — Еще предложите позировать рука об руку с простым матросом!

— В таком случае на вашей картине не будет меня, — рассмеялся Саммерс. — Потому что когда-то я был одним из них.

— Вы, сэр? Поверить не могу!

— И все-таки это правда.

— А как же…

Саммерс с живостью обернулся ко мне.

— На флотском жаргоне это называется: «на

корму из клюза[10] вылез» — то есть поднялся с нижней палубы, из простых, как вы изволили выразиться, матросов.

Ваша светлость и представить себе не можете, как смутили меня его слова, и как я разозлился, обнаружив, что все наше маленькое общество уставилось на меня в ожидании ответа. Надеюсь, он отличался живостью, подобающей обстоятельствам, хотя, боюсь, произнесен был излишне покровительственно.

— Что ж, Саммерс, могу только поздравить вас с тем, что вы превосходно овладели речью и манерами более высокого общества, чем то, к которому принадлежали по рождению.

Саммерс поблагодарил меня со всей возможной признательностью, а потом обратился ко всем сразу:

— Дамы и господа, рассаживайтесь, прошу вас! Без церемоний, где кому удобно. У нас впереди долгое плавание. Бейтс, вели начинать.

При этих словах из коридора вдруг донеслось не очень-то мелодичное повизгивание скрипки и других инструментов. Я постарался разрядить обстановку:

---

[10] Примечания: 10
Отверстие в борту для якорной цепи.

— Саммерс, раз уж нам не суждено красоваться на одном портрете, давайте хотя бы разделим удовольствие усадить мисс Грэнхем между нами. Позвольте, мадам!

Конечно, я рисковал получить еще один выговор, но все же предложил мисс Грэнхем руку и проводил к столу под широким окном, с большим почетом, чем оказал бы первой леди какого-нибудь государства. Удалось! Когда я начал нахваливать мясо, лейтенант Деверель, сидевший слева от меня, сказал, что одна из наших коров сломала ногу во время шторма, а потому мы имеем то, что имеем, зато молока теперь будет меньше. Мисс Грэнхем завела оживленную беседу с мистером Саммерсом, сидевшим справа от нее, так что мы с Деверелем смогли обсудить матросов: их жалость к сломавшей ногу корове, искусность в разных выдумках — как дурных, так и полезных, приверженность спиртному, порочность и невероятную храбрость, а также — уже в шутку — преданность деревянной фигуре на носу корабля. Согласились друг с другом, что в любом обществе большинство трудных ситуаций можно разрешить с помощью строгого, но чуткого руководства. На корабле это именно так, подтвердил Деверель. Я ответил, что уже имел счастье лицезреть строгость, тогда как

чуткость, видимо, еще впереди. К тому времени оживление собравшихся достигло таких высот, что разговоры совсем заглушили скрипку из коридора. Одна тема сменяла другую, мы с Девереле́м пришли к полному взаимопониманию, и он открыл мне душу. Ему бы хотелось служить на настоящем военном корабле, а не на старой калоше с немногочисленным экипажем, наспех собранным из случайных людей. Оказалось, что те, кого я принял за сплоченную команду матросов и офицеров, знают друг друга без году неделя, с тех пор как судно сняли с прикола. По словам Девереля, это просто позор, а не корабль, и отец мог бы найти ему более достойное место. На такой должности ничего путного не добьешься, тем более что война катится к закату и вот-вот затихнет, как незаведенные часы.

И язык, и манеры Девереля отличаются изысканностью. Он просто украшение здешнего общества.

К этому времени в салоне стало совсем шумно, как в любом месте, где собирается много людей. Послышались взрывы смеха и крепкие словечки. Уже потянулась к выходу тихая парочка Пайков с дочерьми-близняшками. Уже мисс Грэнхем сделала попытку выбраться из-за стола, хотя

мы с Саммерсом с двух сторон уговаривали ее остаться. Саммерс просил не обращать внимания на флотский жаргон, которым многие офицеры пользуются не задумываясь, по привычке. Мне казалось, что пассажиры ведут себя гораздо хуже. Если такое происходит тут, на корме, подумал я про себя, то что же творится ближе к носу?! Мисс Грэнхем все еще оставалась на месте, когда дверь распахнулась и вошла дама совсем другой наружности. Молоденькая, но одетая богато и легкомысленно, она впорхнула в салон так поспешно, что шляпка сбилась на затылок, открыв копну золотистых кудряшек. Мы подскочили — во всяком случае, большинство из нас, — но она, грациозным взмахом руки усадив нас на места, подбежала к цветущему господину, склонилась к его плечу и очаровательно — чересчур очаровательно! — прощебетала:

— Ах, мистер Брокльбанк, наконец-то она смогла проглотить хоть ложечку бульона!

— Мое дитя, моя дорогая Зенобия! — прогудел мистер Брокльбанк, представляя незнакомку.

На мисс Зенобию тут же посыпались приглашения присесть. Мисс Грэнхем объявила, что уходит, так что ее место свободно, разве что подушку можно подложить. Однако новая гостья

с неподражаемым лукавством ответила, что кругом слишком много опасных мужчин и она надеялась, что мисс Грэнхем защитит ее добродетель.

— Вздор и чепуха, мадам! — изрекла мисс Грэнхем еще суровее, чем во время разговора с вашим покорным слугой. — Вздор и чепуха! Ваша добродетель здесь в безопасности, как и на всем судне!

— Дорогая мисс Грэнхем, — с притворной печалью вздохнула Зенобия, — уверена, что ваша-то добродетель в безопасности где бы то ни было!

Пошловато, не правда ли? Однако должен признаться, что по крайней мере часть салона встретила ее слова взрывом смеха, ибо мы достигли той стадии обеда, когда дамам лучше бы выйти, за исключением, разумеется, таких, как мисс Зенобия. Деверель, я и Саммерс вскочили, но Олдмедоу успел раньше и вывел мисс Грэнхем из-за стола.

— Садись со мной, Зенобия, детка, — мягким голосом прогудел Брокльбанк.

Мисс Зенобия вздрогнула от яркого полуденного света, который лился из кормового окна, и прикрыла лицо изящными ручками.

— Тут слишком светло, мистер Брокльбанк, па!

— О боже, мадам! — воскликнул Деверель. —

Неужели вы лишите несчастных, сидящих в тени, удовольствия глядеть на вас?

— Нет, — отвечала мисс Брокльбанк. — Я просто обязана занять место мисс Грэнхем.

Она яркой бабочкой порхнула вокруг стола. Деверель наверняка надеялся, что Зенобия сядет с ним, но она выбрала место между Саммерсом и мною. Шляпка ее до сих пор болталась где-то на шее, так что золотистые кудряшки прикрывали щеку и ухо. И все-таки мне, даже с первого взгляда, показалось, что блеск ее глаз — вернее, того из них, что время от времени был обращен на меня, — дань яркости одеяния, а чересчур коралловые губы выглядят как-то ненатурально. Что касается духов…

Я еще не утомил вас? Ведь множество чаровниц на моих глазах вздыхали по вашей светлости — скорее всего тщетно… Дьявол меня побери, ну как тут найти возможность подольститься к крестному, когда он и вправду…

Но вернемся. Чаровница Брокльбанк — живое воплощение мужских представлений о женской внешности. Главное тут — не перефантазировать. В конце концов, я еще очень молодой человек! И могу потешить себя хотя бы восторженными речами, поскольку Зенобия — единственный

достойный внимания предмет в нашей компании. И все же! Мне кажется, что во мне никогда не дремлет, как сказал бы мой любимый автор, «политик жалкий».[11] Не могу достать себе стеклянные глаза и рассыпаться в похвалах. Потому что мисс Зенобия явно пребывает в средних летах и пытается защитить увядающие прелести, прежде чем они окончательно исчезнут, с помощью постоянного мельтешения, которое наверняка утомляет ее не меньше, чем зрителей. Возможно, родители везут ее к антиподам в последней надежде? Среди заключенных и аборигенов, переселенцев и военных в отставке, надсмотрщиков и скромного священства… нет-нет, я несправедлив к барышне, она еще вполне хороша. Не сомневаюсь, что менее разборчивые из пассажиров воспылают к ней далеко не невинным интересом!

Но оставим на время Зенобию и обратим внимание на ее отца и на господина, что сидит напротив него, и которого я заметил, когда он вскочил на ноги. Его пронзительный голос перекрыл царящий вокруг шум:

— Мне хотелось бы донести до вас, мистер

---

[11] Примечания: 11

В. Шекспир, «Король Лир», действие IV, сцена 6 (пер. М. Кузмина).

Брокльбанк, что я давний и упорный враг всяческих предрассудков!

Ага, перед нами мистер Преттимен. Боюсь, я довольно вяло его представил. Что ж, во всем виновата мисс Зенобия. Преттимен — толстый, раздраженный коротышка. Вам он известен. А я установил — не важно как, — что он везет с собой печатный станок, и хоть с помощью этого устройства вряд ли издашь что-то серьезней листовки, машина, на которой Лютер напечатал свою Библию, была немногим больше.

В ответ мистер Брокльбанк загудел, что просто не подумал. Это была шутка. Он вовсе не собирался задевать чьи-то чувства. Традиции. Привычки.

— Я отчетливо видел, как вы бросили щепотку соли через плечо! — не унимался мистер Преттимен, дрожа от возбуждения.

— Так оно и было, сэр, признаю. Больше не повторится.

Эта реплика, показавшая, насколько мистер Брокльбанк не понимает, о чем идет речь, сбила мистера Преттимена с толку. Забыв захлопнуть рот, он опустился на место и тут же исчез из виду. Мисс Зенобия поглядела на меня большими серьезными глазами. Ее густые брови и длинные

ресницы… Нет, не могу поверить, что все это от природы…

— Какой он сердитый, наш мистер Преттимен, правда, мистер Тальбот? Когда он встает, я так пугаюсь, так пугаюсь!

Трудно было представить что-либо менее страшное, чем этот нелепый философ. Однако мы, судя по всему, подошли к знакомым па в старом, всем известном танце. Она — беззащитная и женственная среди них — сильных и огромных самцов, вроде Преттимена и вашего покорного слуги. Мы, в свою очередь, должны ответить шутливой угрозой, так, чтобы в страхе она сдалась на нашу милость, воззвала к рыцарскому великодушию, и «любовные наклонности», как именовал это доктор Джонсон, обоих полов раскалились бы донельзя, создав обстановку, в какой только и могут счастливо существовать подобные создания.

Последние мысли заставили меня заметить кое-что еще. Размах представления был слишком велик. Казалось, Зенобия по меньшей мере привычна к подобному театру, если не играет в нем главную роль! И это явно не первый выход, потому что потом она принялась живописать свои страхи во время последнего шторма так, чтобы ее слышали и находившийся рядом Саммерс, и

сидевшие напротив Олдмедоу с Боулсом, — дай вообще все, до кого можно было докричаться. Нас записали в труппу. Но прежде чем сыграть свою роль, каждый должен был как следует проникнуться театральной атмосферой — я даже потешился мыслью, что в какой-то мере Зенобия могла бы скрасить дорожную скуку, когда очередной вопль Преттимена и ответный гул Брокльбанка заставили нас вернуться к теме разговора. Зенобия, оказывается, частенько стучит по дереву. В ответ я вспомнил, что у меня поднимается настроение, если дорогу передо мной перебежит черная кошка. Двадцать пять для Зенобии — счастливое число. Я предположил, что двадцать пятый день рождения станет для нее самым счастливым — глупость, на которую она не обратила внимания, так как мистер Боулс (который имеет какое-то отношение к закону и потому страшный зануда) объяснил, что обычай стучать по дереву пришел к нам от католиков, которые обожествляют и целуют распятие. Я еще вспомнил, как моя няня говорила, что если ножи скрестятся — быть ссоре, и что перевернутый хлеб на море означает скорое кораблекрушение — когда Зенобия вскрикнула и повернулась к Саммерсу, ища защиты. Тот успокоил ее, сказав,

что французов бояться нечего, их сейчас сильно прижали, но одно только упоминание о врагах повергло Зенобию в панику, и мы снова услыхали описание того, как дрожит она в каюте в страшные ночные часы, думая, как одинок наш кораблик в бурном море. «Один, один, всегда один, один среди зыбей!»[12] — подрагивающим голоском процитировала она.

Трудно найти что-то менее одинокое, чем этот битком набитый корабль, подумалось мне, — разве что долговую яму или невольничье судно. А Зенобия, оказывается, встречала мистера Кольриджа. Мистер Брокльбанк — папа — рисовал его портрет, заходила даже речь об издании иллюстрированной книги, да что-то не вышло.

К тому времени мистер Брокльбанк — видимо, услыхав декламацию дочери, — тоже ритмично заухал. Оказалось — продолжение поэмы. Неудивительно, что он знал стихи наизусть, раз собирался их иллюстрировать. Затем они с философом снова вступили в полемику. И вдруг оказалось, что в салоне тишина, и все слушают спорщиков.

— Нет, сэр, — гудел художник. — Нет и нет. Ни

---

[12] Примечания: 12

С.Т. Кольридж, «Поэма о старом моряке» (перевод Н. Гумилева).

при каких обстоятельствах!

— Тогда откажитесь от кур! Да и всей остальной птицы!

— Нет, сэр!

— И немедленно перестаньте есть вот эту самую говядину, что стоит перед вами! Десять тысяч восточных браминов горло бы вам за нее перерезали!

— У нас на корабле нет браминов!

— Значит…

— Раз и навсегда, сэр: я не буду стрелять в альбатроса. Я мирный человек, мистер Преттимен, и не хочу палить в него точно так же, как и в вас.

— У вас что, есть оружие, сэр? Потому что мне не трудно выстрелить в птицу, чтобы моряки сами увидели…

— Да, у меня есть оружие, сэр, хотя я никогда им не пользуюсь. А вы, что, меткий стрелок?

— В жизни не стрелял!

— Что ж, берите мой мушкет и делайте с ним что угодно.

— Я, сэр?

— Вы, сэр!

Мистер Преттимен снова показался из-за стола. Его глаза сверкали алмазным блеском.

— Благодарю вас, сэр, так я и сделаю, сэр, и вы,

сэр, еще увидите! И простые матросы увидят, сэр…

Он перелез через скамью и буквально вылетел из салона. Вслед ему раздались вялые смешки и перешептывания. Мисс Зенобия повернулась ко мне.

— Папа хочет быть уверен, что на той стороне земли, у антиподов, мы будем в безопасности.

— Надеюсь, он не собирается разгуливать среди туземцев?

— Он желает познакомить их с искусством портрета, которое, по его словам, умиротворяет и распахивает двери в цивилизацию. Боится только, что с непривычки трудно будет рисовать черные лица.

— А не страшно ему? Да и позволит ли губернатор…

— Мистер Брокльбанк… папа хочет уговорить его.

— Господи! Я, конечно, не губернатор, но, дорогая моя, подумайте, как это опасно!

— Если священник может…

— А кстати, где он? — тронул меня за локоть Деверель.

— Отсиживается у себя в каюте. Подозреваю, видеть его мы будем нечасто — слава Богу и ка-

питану Андерсону. Я тосковать не стану, думаю, вы тоже.

Я совсем забыл про Девереля, не говоря уж о пасторе, и только хотел втянуть офицера в беседу, как он поднялся и сказал:

— Мне пора на вахту. Уверен, вы с мисс Брокльбанк не дадите друг другу скучать.

Последние слова прозвучали с явным намеком. Лейтенант раскланялся и ушел. Я взглянул на Зенобию и обнаружил ее в задумчивости. Не серьезной, нет. Просто за искусственной веселостью крылось еще какое-то выражение, которое я не смог разгадать. Помните, вы советовали мне учиться читать по лицам? Так вот, ее глаза и даже веки замерли, будто та персона, что была снаружи — флиртовала и лукавила, как свойственно ее полу, — на миг уступила место той, что внутри — настороженной и наблюдательной. Неужели все дело в замечании Девереля о том, что мы не дадим друг другу скучать? О чем она думала… или думает? Не планирует ли pour passer le temps, любовную интрижку?

(12)

Как ваша светлость может понять, взглянув на номер страницы, я не уделял дневнику столько внимания, сколько Должен бы, и по той причине, по которой не должен бы. Погода вновь испортилась, и движение судна вызвало у меня колики, каковые, впрочем, я ставлю в вину недавно почившей Бесси, той самой коровенке, которая сломала ногу. Так или иначе, море успокоилось, мы с погодой пришли в себя, и, положив дневники поставив чернильницу на специальную дощечку, я в состоянии писать прямо в койке, хотя бы и медленно. С действительностью меня примиряет лишь мысль о том, что во время моих мучений корабль продвинулся довольно далеко. Ветер пригнал его в средиземноморские широты, и скорость наша, по словам Виллера (этого ходячего Фальконера!), ограничена скорее изношенностью корабля, чем силой ветра. Матросы стоят на помпах. Мне всю жизнь казалось, что помпы лязгают, и этот тоскливый звук будет слышен повсюду, однако я ошибался. Во время шторма я капризно допытывался у зашедшего ко

мне Саммерса, почему не работают помпы, и тот заверил меня, что их качают день и ночь, и мне кажется, что корабль осел слишком низко, только лишь из-за плохого самочувствия. Полагаю, я более обычного подвержен морской болезни. По словам Саммерса, тут нет ничего позорного, в подтверждение он неизменно приводит пример лорда Нельсона. Но я все опасаюсь, что это не на пользу моему авторитету. И то, что мистер Брокльбанк и его красотка-дочь слегли рядом со страдалицей миссис Брокльбанк, которая не вставала с койки с тех пор, как мы вышли в море, бодрости, увы, не прибавляет. О том, на что похожи каюты этого несчастного семейства, лучше даже не задумываться.

И еще. Перед тем как мерзкий недуг свалил меня (нынче я уже близок к выздоровлению, хоть и очень слаб), наше небольшое общество потряс политический скандал. Капитан через мистера Саммерса отказал пастору, который хотел провести на судне службы, а также запретил ему появляться на шканцах, так как это нарушает правила для пассажиров. Вот ведь мелкий тиран! Обо всем об этом нам доложил мистер Преттимен, который тут же начал маршировать у шканцев с мушкетом в руках. Бедняга угодил в клещи

между собственным отвращением к церкви и так называемой любовью к свободе. В нем борются противоречивые чувства, и ему очень нелегко. И больше всех его утешает — догадайтесь, кто? Мисс Грэнхем! Когда я услыхал все эти новости, я вылез наконец из своего корыта, побрился и оделся. Долг и природное упрямство гнали меня наружу. Не позволю мрачному капитану диктовать, что мне делать! Еще чего! Будет указывать, ходить мне на службы или не ходить! Я тут же сообразил, что пассажирский салон — место общедоступное и никто, за исключением разве что совсем уж одержимого, не в силах запретить им пользоваться. Священник вполне может провести там небольшую вечернюю службу для тех пассажиров, которые захотят ее посетить. Я как можно тверже прошагал по коридору и постучал в каюту пастора.

Он отворил и тут же согнулся в поклоне. Я почувствовал, как ко мне возвращается неприязнь.

— Мистер… э-э-э… мистер…

— Джеймс Колли, мистер Тальбот, сэр. Преподобный Роберт Джеймс Колли, готов служить, сэр.

— Именно о службе и речь… сэр.

Еще более низкий поклон. Похоже, он счел

обычное вежливое обращение даром себе и своему богу одновременно!

— Мистер Колли, когда у нас воскресенье?

— Как, сэр? Сегодня, мистер Тальбот, сэр!

В его устремленных на меня глазах светилось такое подобострастие, такая раболепная преданность, будто у меня в кармане плаща завалялась целая связка приходов. Чувствуя растущее раздражение, я постарался побыстрей перейти к делу:

— Я плохо себя чувствовал мистер Колли, иначе поговорил бы с вами раньше. Кое-кто из пассажиров наверняка был бы рад, проведи вы короткую службу в пассажирском салоне, после того, как пробьет семь склянок, или, если предпочитаете сухопутный язык, в половине четвертого.

Пастор словно бы подрос прямо у меня на глазах. Его собственные, в свою очередь, налились слезами.

— Мистер Тальбот, сэр, как это… как это по-вашему!

Я совсем рассвирепел. На кончике языка вертелся вопрос: откуда он знает, что по-моему, а что не по-моему? Я кивнул и удалился, краем уха услышав за спиной слабое блеяние о том, что ему надо бы еще навестить немощных. Боже ми-

лосердный, да стоит ему сунуться в чью-нибудь каюту, как его с треском оттуда вышвырнут! Как бы там ни было, а я смог Дойти до пассажирского салона, ибо раздражение — лучшее лекарство для ослабших членов, и обнаружил там Саммерса.

Новость о том, что я организовал на корабле церковную службу, он принял в молчании, а в ответ на предложение пригласить капитана, слабо улыбнулся и ответил, что в любом случае обязан докладывать ему обо всем, что происходит на судне. Лейтенант взял на себя смелость предложить более поздний час. Я ответил, что время не имеет значения, вернулся в каюту и упал на парусиновый стул, чувствуя, что устал, но начинаю выздоравливать.

Через некоторое время ко мне зашел Саммерс и сказал, что, если я не против, он чуть-чуть доработает мою идею. Сделает из нее прошение от имени всех пассажиров! Он поспешил добавить, что на флоте так положено. Что ж, ладно. Любой, кто, подобно мне, предан замысловатому, но очень выразительному флотскому языку (я надеюсь привести вам несколько самых интересных образчиков), не позволит нарушать морские обычаи. Но когда я услышал, что недотепа-пастор собирается читать нам проповедь, я пожалел

о своем порыве и вдруг понял, что несколько недель вдали от всех атрибутов государственной религии стали для меня настоящим отдыхом!

Итак, я счел отступление неприличным, и мне пришлось посетить службу, устроенную по моей просьбе. Это было ужасно. Прямо перед службой я налетел на мисс Брокльбанк, щедро наштукатуренную красным и белым. Полагаю, именно так выглядела Магдалина, стоя у ограды храма и не решаясь войти. Да уж, подумал я, Колли — не тот человек, чтобы заставить ее выглядеть поскромнее. Однако вскоре я обнаружил, что недооценил как сообразительность дамы, так и ее опыт: когда пришло время службы, свечи в салоне так подсветили ее лицо, что лишние годы куда-то исчезли, и оно стало юным и прекрасным! Мисс Брокльбанк посмотрела на меня — как выстрелила. Едва я оправился от этого залпа, как обнаружил, что Саммерс, еще больше усовершенствовав мое первоначальное предложение, допустил в салон самых приличных переселенцев, дабы они смогли разделить с нами молитву: кузнеца Гранта, приказчиков Филтона и Уитлока и старого стряпчего, мистера Грейнджера с еще более дряхлой женой. Разумеется, любая сельская церковь может похвастаться не меньшим

смешением сословий, однако тут, на корабле, общество собралось не слишком-то благородное — плохой пример для простолюдинов. Пока я пытался примириться с вторжением, вошел — мы из уважения встали — пастор, все его пять футов, облаченные в пасторскую шапочку поверх круглого парика, длинную мантию, подбитые железом сапоги; он внес с собой сложную атмосферу робости, благочестия, восторга и самодовольства. Ваша светлость может возразить, что столь разнообразные чувства не могут уживаться под одним-единственным париком. Да, на обычном лице просто не хватит места для всех выражений, главное обязательно вытеснит все остальные. В большинстве случаев так оно и бывает. Разве не улыбаемся мы и ртом, и щеками, и глазами — да всем лицом, ото лба до подбородка! Но Колли был сотворен Природой на редкость экономно. Она словно бы свалила в одну кучу… нет, это слишком грубо. В общем, на какой-то окраине времен, на топком берегу самой заброшенной речушки, случайно и бестолково слились воедино те черты, что Природа выкинула за ненадобностью, как не подошедшие ни одному из ее созданий. Завершила образ некая жизненная искра, которая, судя по всему, была предназначена овце. И вот перед

нами свежеиспеченный, неоперившийся пастор.

Во всем вышесказанном ваша светлость может усмотреть попытку писать красиво — льщу себе, что не совсем бесполезную. Озирая присутствующих, я не мог отделаться от мысли, что Колли — живое доказательство афоризма Аристотеля. Любой человек от рождения принадлежит какому-то сословию, если какая-нибудь игра случая не поможет ему подняться выше. Как в грубых средневековых манускриптах, где краски не имеют оттенков, а рисунки — перспектив. Скажем, осень там всегда знаменуют люди — крестьяне, холопы, которые трудятся в полях и чьи лица очерчены теми же скудными и неровными линиями, что и У Колли.

Глаза его были опущены долу — от скромности и, возможно, в знак размышлений. Уголки рта поднялись и знаменовали триумф и самодовольство. Остальные части лица буфились костями. Образование пастор явно получал в поле, собирая камешки и гоняя птиц, а университетом ему стала упряжка с плугом. Теперь все его черты, неравномерно обожженные тропическим солнцем, сплавились в единую, венчающую все, гримасу скромности.

Не кажется ли вам, что мы снова ударились

в красивости? Дело в том, что я все еще пылаю негодованием. Колли знает о моей будущей должности. Время от времени трудно было понять, обращался ли он к своему божеству или к Эдмунду Тальботу. Актерствовал Колли не хуже мисс Брокльбанк, и только привычное уважение к представителям церкви помешало мне разразиться негодующим хохотом. Среди приглашенных переселенцев была тихая, бледная молодая женщина, которую бережно принесли на руках и усадили на стул позади меня. Оказывается, во время первого же шторма у нее случился выкидыш, и ее мертвенная бледность резко контрастировала с искусственным румянцем чаровницы Брокльбанк, а сдержанное и почтительное внимание ее спутников — с притворной святостью Колли. Так началась эта служба — в самых что ни на есть странных обстоятельствах на редкость нелепого вечера. Не стану говорить о том, что над нашими головами грохотали шаги мистера Преттимена, который как можно громче демонстрировал антиклерикализм. Опущу топот и крики, которыми сопровождалась смена вахты: все делалось настолько шумно, насколько можно было ожидать от развеселившихся моряков — наверняка по приказу капитана, в крайнем случае,

с его молчаливого одобрения. Сам я мог думать только о бледной девушке и о том фарсе, что разыгрывался перед ней. Потому что как только мистер Колли увидел мисс Брокльбанк, он глаз с нее не сводил. Она же сыграла свою роль — и слово «роль» я употребляю тут не случайно, — с той картинной набожностью, какой отличаются персонажи передвижных театров, колесящих в сельской глуши. Ее глаза отрывались от лица пастора только для того, чтобы вознестись к небу. Губы, полуоткрытые в религиозном экстазе, шевелились, повторяя: «Аминь!» В какой-то момент одну из ханжеских реплик Колли, сопровождаемую «аминь» мисс Брокльбанк, удачно подчеркнуло оглушительное пуканье мистера Брокльбанка, отчего большинство собравшихся захихикали, как школьники за партами.

Хоть я пытался как можно больше отстраниться от происходящего, оно смущало меня все сильнее и сильнее. Сперва я злился на собственные чувства, но вдруг, определив источник раздражения, понял, что чувства мудрее, чем разум. Ибо мы, повторюсь, пустили к себе группу простонародья. Возможно, они прошли в кормовую часть корабля с теми же мыслями, что и некоторые ваши посетители, которые якобы жаждут увидеть

Каналетто,[13] а на самом деле рвутся посмотреть, как живут знатные люди. Хотя надеюсь, конечно, что все наши гости и в самом деле хотели помолиться. Наверняка этой несчастной бледной девочке негде искать утешения, кроме как в религии. И кто же осмелится отнять у бедняжки последнюю надежду? Возможно, дешевый спектакль нашего проповедника и его Магдалины не помешал ей вознести мольбы к воображаемому Богу, но что подумали ее простые, честные спутники? Боюсь, их почтение к высшему обществу в этот вечер сильно пошатнулось.

Андерсон и в самом деле ненавидит церковь! И его отношение действует на всех окружающих. Он не отдает никаких приказов, но все знают, как капитан обращается с подчиненным, посмевшим не разделить его нелюбовь. Только мистер Саммерс да долговязый армейский офицер, мистер Олдмедоу, пришли в пассажирский салон. А почему там был я — вы знаете. Не желаю поддерживать тиранов!

Под конец проповеди я сделал главное открытие сегодняшнего вечера, по-новому осветившее

---

[13] Примечания: 13

Каналетто (Джованни Антонио Каналь, 1697–1768 гг.) — итальянский художник, глава венецианской школы ведутистов, мастер городских пейзажей в стиле барокко.

ситуацию. Когда я впервые заметил, как размалеванное лицо нашей актрисы притягивает взгляд преподобного, я решил, что он испытывает неприязнь, смешанную, возможно, с невольным подъемом — неким порывом желания, или даже похоти, который опытная распутница вызывает не столько в разуме, сколько в теле мужчины, изо всех сил демонстрируя, что она доступна. Но вскоре я понял, что дело обстоит совсем иначе. Мистер Колли никогда не бывал в театре! Страшно подумать, до чего он может докатиться на пути в свою отдаленную епархию, от театра до maison d'occasion?[14] В его книгах говорилось о раскрашенных женщинах, которые собственными ногами сходят в ад, но не давалось совета о том, как узнать этих женщин при свете свечи! Он принял мисс Брокльбанк за ту, кого она играла! Их словно бы связали цепью из побрякушек. В какой-то момент, произнеся слово «господа», он повернулся к ней и продолжил: «…и даже дамы, как бы хороши они ни были», после чего проповедь полилась дальше. Из-под шляпки мисс Грэнхем донеслось шипение, а Саммерс заерзал на стуле.

---

[14] Примечания: 14
Дом свиданий (фр.).

Наконец все было кончено. Раздраженный и недовольный, несмотря на отсутствие качки, я вернулся в каюту, чтобы сделать эту запись. Даже не знаю, что со мной творится. И пишу как-то кисло, и сам закис, вот и все.

(17)

По-моему, уже семнадцатый. Хотя какая разница. Мне опять плохо — колики. О, Нельсон, Нельсон, как же удалось тебе прожить так долго и умереть не от морской болезни, а куда менее мучительной смертью — от руки врага?!

(?)

Я снова на ногах — бледный, вялый, чуть живой. Но, несмотря ни на что, до конца плавания, кажется, дотяну.

Это я писал вчера. Записи стали короткими, как главы из произведений мистера Стерна![15] Впрочем, есть одно забавное обстоятельство, с которым я хотел бы ознакомить вашу светлость. В самый разгар болезни, как раз перед тем, как я собирался принять очередную дозу маковой настойки, в дверь робко постучали.

— Кто там? — простонал я.

— Это я, мистер Тальбот, сэр, — ответил застенчивый голос. — Мистер Колли, сэр. Помните — преподобный Джеймс Колли? К вашим услугам, сэр.

Не столько разум, сколько везение натолкнуло меня на единственный верный ответ, позволивший мне от него отделаться.

— Оставьте меня, прошу вас! — Я осекся, пере-

---

[15] Примечания: 15

Стерн, Лоренс (1713–1768 гг.) — английский писатель, автор романов «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» и «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии».

жидая сильный спазм. — Я молюсь!

То ли почтение к молитве, то ли приход Виллера с настойкой заставили пастора убраться прочь. Добрая порция лекарства тут же свалила меня. И все-таки я смутно помню, как время от времени, открывая глаза, видел над собой нелепое лицо Колли — странную ошибку природы. Бог знает, когда это было — если было вообще! Но теперь, когда я на ногах — пусть и очень слаб, у него не хватит нахальства сюда сунуться.

Сны, которые навевает настойка Виллера, похоже, объясняются содержащимся в ней опием. Передо мной проплывало множество лиц, так что не исключено, что лицо Колли было просто одним из мутных видений. Настойчивей всех меня преследовала бледная переселенка — надеюсь, на самом деле с ней все хорошо. Щеки у нее провалились так, что под скулами чернели квадратные дыры — ничто и никогда не пугало меня столь сильно, как эти дыры и темнота, которая шевелилась в них, когда несчастная поворачивала голову. Даже не могу описать, как это тяжко. Бессильный гнев наполнял меня, когда я вспоминал жалкий фарс, именуемый службой, на который привел ее муж. Так или иначе, а сегодня я почти пришел в себя и гоню нездоровые мысли.

Мы идем почти так же быстро, как я выздоравливаю. Хотя воздух стал более жарким и влажным, меня больше не бросает в пот от топота мистера Преттимена. Он прохаживается по шканцам с мушкетом, который одолжил у пропойцы-художника, и с помощью этого древнего оружия хочет напоказ застрелить альбатроса, несмотря на мистера Брокльбанка, мистера Кольриджа и все суеверия на свете! Живой пример того, сколь иррационален может быть философ-рационалист.

(23)

Думаю, что двадцать третий. Саммерс собирается поучить меня названиям основных частей такелажа. Я, в свою очередь, намереваюсь удивить его сухопутными знаниями, почерпнутыми из книг, о которых он даже не слыхал! И угостить вашу светлость некоторыми перлами флотского жаргона, потому что я уже начал, пусть и не очень бегло, на нем разговаривать! Как жаль, что этот выразительный язык так мало используется в литературе!

(27)

Способен ли человек всегда сохранять трезвую голову?.. В этой влажной жаре… Речь о Зенобии. Замечали вы когда — нибудь, ваша светлость… Да о чем я? Конечно, да! Всем известна истинная, доказанная и несомненная связь между красотой женщины и крепостью выпитого! После третьего стакана лет двадцать испарились с лица прелестницы, как снег на солнце! Добавим сюда же морские плавания — особенно наше, которое не спеша несет нас сквозь тропики и не может не отражаться на мужском здоровье, о чем неоднократно говорилось в заумных профессиональных книгах — медицинских, разумеется, — но не попадалось мне в рамках обычного образования, разве что у Марциала[16] — но у меня нет его с собой. Или у Феокрита?[17] Помните — полдень,

[16] Примечания: 16

Марциал, Марк Валерий (ок. 40-104 гг. н. э.) — римский поэт эпиграмматист.

[17] Примечания: 17

Феокрит (III в. до н. э.) — древнегреческий поэт.

летняя жара, τον Πανα δεδοικαμες.[18] Да, не исключено, что тут замешан Пан или его морской собрат! Хотя морские боги и нимфы — существа холодные. А у этой женщины внешность яркая, требовательная — не зря она так красится! Мы сталкиваемся друг с другом снова и снова. Как тут избежать?.. Нет, повторюсь: все это просто безумие, тропическая лихорадка, бред! Но теперь, тропической ночью, стоя у фальшборта и глядя на запутавшиеся в парусах звезды, я чувствую, как понижаю голос, произнося ее имя, и понимаю, что схожу с ума — почему, ну почему ее едва прикрытая грудь волнуется сильней, чем сияющая под нами глубина? Глупо, ужасно глупо, и все же — как описать… Мой благородный крестный, если я досаждаю вам, велите мне умолкнуть.

Я поправлюсь, как только сойду на берег, стану мудрым и беспристрастным помощником губернатора, чиновником, ногу которого вы поставили на первую ступеньку служебной лестницы… но разве это не ваши слова: «Пишите обо всем» или «Дайте мне прожить жизнь еще раз — вашими глазами»?

В конце концов, я еще очень молод.

---

[18] Примечания: 18

«Пана боимся» (греч.) (Феокрит, «Идиллии», идиллия I («Тирсис»), пер. Е.М. Грабарь-Пассек).

Главная трудность, черт ее подери, в том, чтобы найти место для встречи. Нет, встретить даму нетрудно, более того — ее почти невозможно избежать. Также, как и всех остальных! Мистер Преттимен оккупировал палубу. Все Пайки — мать, отец и две дочурки — снуют по шкафуту туда-сюда и поглядывают по сторонам, видимо, опасаясь, как бы им не сделали замечание. Вот со шкафута показался и Колли. Теперь он не только каждый раз приветствует меня поклоном, но и венчает его такой понимающей и благочестивой улыбкой, что у меня снова начинается морская болезнь. Что же делать? Тут и по палубе-то с дамой лишний раз не прогуляешься! Вы спросите: а чем плохи каюты, моя и ее? «Всем!» — отвечу я. Когда мистер Колли откашливается, он будит мисс Грэнхем, живущую в другом конце коридора. Когда мистер Брокльбанк пускает газы — а делает он это каждое утро, после семи склянок, — в каюте мистера Преттимена трясутся шпангоуты. Нет, место для свиданий надо выбрать очень тщательно. Я было решил познакомиться с баталером, но обнаружил, что офицеры уходят от разговоров о нем, будто он святой или, наоборот, проклятый — уж не знаю почему, — а на палубе он не показывается. Я сделал себе заметку на будущее

— разобраться с этой загадкой, но это потом, все потом, а пока я схожу с ума…

(30)

Дойдя до полного отчаяния, я попросил мистера Томми Тейлора отвести меня в шкиперскую, сейчас там всего три гардемарина, хотя положено больше, поэтому остается достаточно места для мичманов, чье помещение — даже не стану выяснять, как оно называется, — в свою очередь, передано самым уважаемым из переселенцев. Мичманы — канонир, плотник и штурман — сидели за столом и молчали так, будто знали обо мне больше, чем кто бы то ни было на корабле, за исключением, быть может, суровой мисс Грэнхем. Я, однако, сперва не обратил на них особого внимания, так как рассматривал необыкновенную вещь, которую обнаружил, когда тощий и длинный мистер Виллис отошел к трапу. Растение! Представляете, какой-то вьюнок в горшке, стебель которого на несколько футов протянулся по переборке. И ни листочка, а те побеги и веточки, которым не за что было зацепиться, повисли, как морские водоросли — кстати, более уместные в подобной обстановке. Я даже вскрикнул от изумления. Мистер Тейлор зашелся своим

обычным хохотом и указал на не слишком-то гордого хозяина этого чуда — мистера Виллиса. Тот немедленно ретировался вверх по трапу. Я перевел взгляд с цветка на мистера Тейлора.

— Что за ерунда?

— Это все Джек-проказник, — ответил канонир.

— Горазд он над всеми шутить, наш мистер Деверель, — поддержал его плотник. — Заморочил парнишке голову.

Штурман лишь улыбался с непонятным сочувствием.

— Мистер Деверель сказал ему, что эта штука поможет продвинуться по службе, — прорыдал Томми Тейлор в прямом смысле слова — из глаз его лились слезы. Он задыхался, и я постучал его по спине, гораздо крепче, чем ему хотелось бы. Ничего, нельзя же все время хохотать.

— Видите — вьюнок!

— Джентльмен Джек, — повторил плотник. — Я и сам не мог удержаться от смеха. Поглядим, что он придумает для чертовой купели.

— Для чего, сэр?

Канонир вытащил из-под стола бутылку.

— По стаканчику, мистер Тальбот?

— В такую жару…

В бутылке оказался ром — густой, огненный. От него кровь у меня закипела еще сильнее, а духота в помещении стала совсем уж нестерпимой. Я позавидовал морякам, которые скинули кители, но мне, разумеется, не подобало следовать их примеру.

— У вас невозможно душно, господа. Не представляю, как вы проводите тут день за днем.

— Эх, мистер Тальбот, — откликнулся канонир. — Жизнь вообще непростая штука.

— Нынче тут, а завтра… — поддержал его плотник.

— Помните того малого, Готорном его, что ли, звали — нанялся к нам аккурат перед нынешним плаванием. Боцман велел ему трос держать вместе со всеми, поставил последним, да приговаривал: «Только не бросай, держи, что бы ни случилось». Мы начали груз брать, старушка наша осела, все, ясное дело, отскочили, а Готорн этот — он из деревни был, не мог шкива от якоря отличить, — держал, как было сказано.

Канонир кивнул и выпил.

— Приказ есть приказ.

Судя по всему, продолжения ждать не стоило.

— А что, собственно, стряслось?

— Ну как же, — ответил плотник. — Конец-то

к шкиву — фьють! — и Готорн с ним. Пролетел небось не меньше мили.

— Больше его не видали.

— Господи!

— Вот я и говорю: нынче тут, а завтра — кто ж его знает.

— Я вам тоже, ежели захотите, расскажу пару историй про пушки, — сказал канонир. — Очень они опасны, когда задурят, а дурить у них — десять тысяч разных способов! Так что, если подадитесь в канониры, мистер Тальбот, не забывайте думать головой.

Мистер Гиббс, плотник, подтолкнул локтем штурмана.

— И не говорите. Даже помощнику канонира, и тому голова на плечах пригодится, сэр. Не слыхали вы о помощнике, который башку потерял? У Аликанте, если память мне не изменяет…

— Не слыхали, валяй, Джордж!

— Этот самый канонир ходил туда-сюда с пистолем в руках позади своей батареи. Они как раз перестреливались с фортом — дурацкая затея, я считаю. И тут сквозь орудийный порт пронеслось раскаленное ядро и снесло ему голову начисто — что твоя французская галлантина или как ее там. Раскалилось ядро докрасна и прижгло шею так,

что канонир продолжал маршировать взад-вперед, и все заметили, что стряслось, только когда удивились: почему это приказов не слышно. Смех один! И топтались подле него, пока старший офицер не прибежал узнать, отчего это, черт их дери, пушки с правого борта палить перестали. Спрашивают канонира, что это он молчит, а ему и ответить нечем!

— Перестаньте, господа! Честное слово!

— Еще стаканчик, мистер Тальбот?

— Здесь так душно…

Плотник кивнул и постучал костяшками пальцев по шпангоуту.

— Не поймешь, что хуже воняет — воздух или дерево.

Канонир пару раз вздрогнул от сдерживаемого смеха, который кипел в нем, словно волна, что никак не может пролиться.

— Надо окошко открыть, — фыркнул он. — Помните тех девиц, мистер Гиббс? «А можно открыть окошко? Голова кружится!»

Мистер Гиббс тоже затрясся.

— «Голова кружится? Бедняжка! Подите-ка сюда, тут можно подышать свежим воздухом».

— «Ой, что там, что там такое, мистер Гиббс? Это крыса? Терпеть не могу крыс!»

— «Это мой песик, мисс. Идите сюда. Погладим песика».

Я хлебнул еще немного огненной жидкости.

— Вы приводили девиц прямо сюда, на корабль? И никто не заметил?

— Я заметил, — просиял улыбкой штурман.

Канонир ткнул его локтем.

— Проснись, Фитиль! Тебя тогда даже на борту не было. Нас еще с прикола не сняли.

— С прикола… — повторил мистер Гиббс. — Вот это жизнь, вот это я понимаю! Никакого тебе моря, чтоб ему пусто было. Сидишь себе в тихой бухте, валяешься на любой койке — хоть в адмиральской каюте. На камбузе всю работу бабы делают. Лучшее место на флоте, мистер Тальбот, сэр. Семь лет я вот так проторчал, прежде чем решено было отскрести нашу старую посудину от грязи. Потом не знали, как ее кренговать, так что просто малость счистили водоросли тралом, да и все. Потому-то она едва-едва и ползет. Вся беда в морской воде. Хорошо бы в этой Сидневской бухте, или как ее там, можно было встать на якорь в пресной воде.

— Если с нее начнут соскребать водоросли, — отозвался канонир, — могут и днище вместе с ними оторвать.

Я меж тем так и не приблизился к своей цели. У меня оставался единственный выход.

— А баталер тоже живет тут, с вами?

Опять все та же странная, напряженная тишина.

— У него своя берлога, — наконец ответил мне мистер Гиббс. — Настил на бочках с водой, где всякие грузы да запасы.

— Какие грузы?

— Ящики, тюки, — начал перечислять канонир. — Ядра, порох, запальные фитили и картечь, цепи и тридцать двадцатичетырехфунтовых пушек — заткнутых дульными пробками, смазанных, законопаченных и закрепленных тросами.

— Инструмент, — подхватил штурман, — рубанки да топоры, молотки да стамески, пилы да кувалды, киянки, гвозди, нагеля да листовая медь, пробки, упряжь, кандалы, кованые перильца для губернаторского балкона, бочки, бочонки: большие, малые, совсем крохотные, бутылки и ящики, а в них бобы, семена, корм для скота, масло для фонарей, бумага и парусина.

— И еще тысяча других вещей, — закончил штурман. — Десять тысяч по десять тысяч.

— А чего бы вам не проводить туда джентльмена, мистер Тейлор? — предложил плотник. —

Возьмите, вон, фонарь да прикиньтесь, будто капитан вам велел пассажиру все показать.

Мистер Тейлор повиновался, и мы пошли, а вернее сказать, поковыляли в носовую часть корабля. Сзади донесся голос:

— Может, даже и самого баталера увидите.

Путь оказался странным и неприятным; вокруг нас и впрямь шныряли крысы. Мистер Тейлор, привычный к обстановке, убежал далеко вперед, пришлось окликнуть его, чтобы не оказаться одному в зловонной темноте. Вернувшись с полдороги, парень осветил фонарем узкую извилистую тропку между бесконечными тюками и грудами, которые были навалены вокруг нас и даже над нами без всякого видимого порядка. Один раз я все-таки грохнулся, взрывая сапогами те самые песок и гравий, которые Виллер столь красочно описал мне в первый день плавания — тогда-то, неуклюже барахтаясь между двух широких тимберсов, я и заметил баталера, — во всяком случае, я полагаю, что это был именно он. Углядел я его через тесную щель между какими-то непонятными тюками, и, поскольку передо мной был единственный член экипажа, которому не надобно ограничивать себя в масле для фонарей, щель сверкала как окно на солнечной стороне

дома. Сквозь нее виднелась крупная голова, украшенная крохотными очками и склонившаяся над бухгалтерской книгой — ничего более.

Неужели это тот самый человек, одно имя которого рождает смущенное молчание у моряков, не боящихся ни жизни, ни смерти?!

Я выкарабкался из балласта на палубные доски возле укрепленной тросами пушки и снова двинулся за Томми Тейлором, пока поворот узкой тропинки не скрыл от меня смутное видение. Наконец мы достигли передней части судна. Мистер Тейлор повел меня вверх по трапу, восклицая дискантом: «Прочь, прочь отчаливай!», словно все вокруг были на лодках, хотя на самом деле на флотском жаргоне это означает просто-напросто приказ освободить дорогу, и Томми служил мне глашатаем, отгоняя с моего пути простолюдинов. Таким вот манером, минуя палубы, полные людей разного пола и возраста, а также шума, дыма и запахов, мы поднялись из глубин на бак, где я немедленно рванулся вперед, к чистому, сладкому воздуху шкафута! Поблагодарил мистера Тейлора за эскорт, зашел в каюту и велел Виллеру стянуть с меня сапоги. Затем сбросил одежду, обтерся, потратив не менее пинты воды, и только тогда почувствовал себя более или

менее чистым. Честное слово, как легко бы мичманы ни добивались женской благосклонности в мрачных глубинах трюма, вашему покорному слуге он не подходит. В полном отчаянии я уселся на парусиновый стул и почти уже решил довериться Виллеру, но остатки здравого смысла возобладали, и я оставил свои желания при себе.

Не могу понять, что за выражение такое — «чертова купель». Фальконер на сей счет хранит молчание.

(Y)

Осенило меня внезапно. Разум может часами бродить вокруг какой-либо задачи, не замечая решения. Его словно бы вовсе нет. И вдруг — эврика! Не можешь изменить место — измени время! Когда Саммерс объявил, что экипаж собирается выступить перед пассажирами, я сперва не придал значения его словам, и вдруг, окинув ситуацию взглядом политика, понял, что корабль предоставляет нам не место — но возможность! Рад уведомить вас, милорд, — не столько с радостью, сколько с законной гордостью, — что, подобно лорду Нельсону, выиграл морской бой! Может ли представитель сухопутной части человечества добиться большего? Вкратце: я донес до сведения всех и каждого, что никакие представления меня не интересуют, что у меня разболелась голова, и я остаюсь в каюте. Удостоверился в том, что эти слова слышала Зенобия. А потом встал у зарешеченного глазка, глядя, как пестрая, крикливая толпа потянулась на палубу, радуясь хоть какому-то развлечению, и вскоре коридор сделался пустым и тихим, как… как я и

предполагал. Я ждал, вслушиваясь в топот над головой, и вскоре мисс Зенобия сбежала по трапу вниз — скажем, захватить шаль, совершенно необходимую тропической ночью! Я отворил дверь, поймал ее за талию и втащил в каюту прежде, чем она успела издать хотя бы притворный писк. Но мне хватало шума с палубы, да и кровь гудела в ушах, так что я с бурным натиском перешел в наступление! Некоторое время мы боролись около койки, Зенобия — тщательно рассчитывая силы, чтобы вовремя сдаться, я — с нарастающей страстью. Стоило мне двинуться на абордаж, как она беспорядочно отступила к противоположной стене, где ее уже ждал парусиновый таз в железном кольце. Я атаковал, и кольцо треснуло! Книжная полка перекосилась, «Молль Флендерс»[19] оказалась на палубе, «Жиль Блаз»[20] упал на нее, а прощальный подарок тетушки, «Кладбищенские размышления» Гервея[21] (в двух томах, Лондон), накрыл их обоих. Я

---

[19] Примечания: 19

Роман Даниэля Дефо «Радости и горести знаменитой Молль Флендерс».

[20] Примечания: 20

Роман Алена Рене Лесажа «История Жиль Блаза из Сантильяны».

[21] Примечания: 21

«Кладбищенские размышления» — эссе преподобного Джеймса Гервея (1714–1758 гг.).

отшвырнул книги в сторону вместе с топселями Зенобии, ожидая, что та наконец-то сдастся, но она продолжала храбро, хотя и бестолково сопротивляться, что лишь сильнее меня распаляло. Я взял курс на берег. Мы пылали страстью среди развалин парусинового таза и затоптанных страниц крохотной библиотеки. И — ах! — в конце концов она сдалась, пала от руки завоевателя, выбросила белый флаг, и победитель получил свои трофеи! Однако, сами понимаете, ваша светлость, наша мужская задача — побеждать тех, кто выше нас, и щадить тех, кто под нами. Одним словом, снискав благосклонность Венеры, я вовсе не хотел стать причиной мучений Луцины.[22] Между тем Зенобия отдавалась мне решительно и страстно, но на беду, в этот самый миг, по несчастливой случайности, на палубе раздался настоящий взрыв.

Зенобия судорожно вцепилась в меня.

— Мистер Тальбот! Эдмунд! Спасите! Французы!

Возможно ли представить себе что-либо более несвоевременное и комичное?! Как и большинство хорошеньких и страстных женщин, Зенобия

---

[22] Примечания: 22

Луцина (Юнона) — богиня-покровительница новой жизни, рождения и родов.

— дурочка, и взрыв (природу которого я определил сразу же) поверг бедняжку в ужас, от которого ее требовалось немедленно защитить. Что ж, за мной дело не стало. А Зенобия сама виновата, ей и отвечать — как за просчеты, так и за удовольствия. Она ведь, вне всякого сомнения, меня провоцировала! И кажется слишком опытной женщиной, чтобы не понимать, что делает!

— Успокойтесь, дорогая, — пробормотал я, переводя дух оттого, что пик страсти наступил слишком уж быстро, оставив спутницу в некотором смущении. — Это мистер Преттимен наконец-то дождался альбатроса и разрядил в него мушкет вашего отца. Вам стоит опасаться не столько французов, сколько здешних моряков, если станет известно, что он натворил.

(На самом деле мистер Кольридж ошибался: моряки, конечно, суеверны, но жизнью не дорожат вовсе, ни своей, ни чужой. И птиц не стреляют только потому, что, во-первых, им не дают оружия, а во-вторых, морские птицы малосъедобны.)

И над нами, и кругом — по всему кораблю — раздавался топот и шум. Я предположил, что выступление имело громкий успех, как бывает обычно, когда больше нечего смотреть.

— Теперь, дорогая, — обратился я к Зенобии, — нужно вернуть вас к людям. Не стоит, чтобы нас видели вместе.

— Эдмунд!

Тут начались всякие охи и вздохи. Честное слово, на это было не очень приятно смотреть!

— Что такое? Что случилось?

— Ведь вы не оставите меня?

Я сделал вид, что задумался.

— Куда же я денусь? Не предполагаете же вы, что я уплыву отсюда на собственном корабле?

— Жестокосердный!

Мы подошли, как может заметить ваша светлость, к третьему акту низкопробной драмы. Она — покинутая жертва, я — бессердечный злодей.

— Бросьте, милейшая! Не притворяйтесь, что подобные обстоятельства — учитывая даже наше не совсем обычное положение, — что подобные обстоятельства, повторюсь, вам внове.

— Что же мне теперь делать?

— Оставьте ваши дамские штучки. Опасности нет никакой, и вам это известно. Или вы ждете…

Я захлопнул рот. Одно предположение, что связь эта может повлечь за собой какие-то денежные отношения, показалась мне оскорбительной. Честно говоря, меня и так многое раздражало,

дело казалось законченным, и в тот момент я ничего не желал более, чем увидеть, как Зенобия испаряется, как мыльный пузырь или еще что-нибудь столь же бесплотное.

— Жду чего, Эдмунд?

— Подходящего момента, чтобы ускользнуть в свою каморку… я хотел сказать, каюту и привести себя в порядок.

— Эдмунд!

— У нас слишком мало времени, мисс Брокльбанк!

— И все таки… если вдруг обнаружатся… неприятные последствия…

— Если бы да кабы, моя дорогая. Обнаружатся — тогда и будем думать! А пока — ступайте, ступайте! Погодите, я выгляну в коридор… Вперед, на горизонте чисто!

Я отсалютовал на прощание и закрыл за Зенобией дверь. Вернул книги на полку и попытался в меру своих сил поправить железный обруч для таза. В конце концов, я улегся на кровать и погрузился… не то чтобы в Аристотелеву меланхолию, а все в то же раздражение. Нет, ну какая же дура! Французы! А все ее привычка играть, как в театре! Но чу — похоже, представление окончено. Я решил, что покажусь позже, когда свет в коридоре

будет не столько подчеркивать, сколько скрывать. Выберу удобный момент, выйду в салон и выпью стаканчик с любым, кто там окажется. Я не зажигал свечу, но ждал, и ждал, как оказалось, напрасно. С верхней палубы никто не спускался. Наконец, в полном замешательстве, я все-таки вышел в пассажирский салон и обнаружил там Девереля, сидящего под широким кормовым окном со стаканом в одной руке и карнавальной маской в другой! Он фыркал себе под нос.

— Тальбот, дружище! Стюард, стакан мистеру Тальботу! Нет, что за представление!

Деверель явно был навеселе. Несвязная речь, разухабистые манеры. Он изящно приподнял стакан, показывая, что пьет в мою честь, и снова расхохотался.

— Ну и позабавились!

На миг мне показалось, что он имеет в виду мою интрижку с мисс Зенни. Впрочем, вряд ли он высказался бы об этом в таких выражениях. Значит, о чем-то еще.

— Да, — согласился я. — Позабавились на славу, сэр.

— Как же он ненавидит этого пастора! — продолжал Деверель через пару секунд.

Ага, как говорили мы в детстве — уже теплее!

— Вы имеете в виду бравого капитана Андерсона?

— Да, ворчуна-драчуна.

— Признаюсь, мистер Деверель, я и сам недолюбливаю духовенство, но капитанская неприязнь выходит за всякие рамки. Говорят, он запретил мистеру Колли выходить на шканцы из-за каких-то там правил.

— А поскольку мистер Колли считает, что шканцы включают в себя еще добрую часть юта, он оказался буквально заперт на шкафуте.

— Столь страстная ненависть — для меня загадка. Сам я нахожу Колли созданием несколько… несколько… в любом случае я наказал бы его не более чем безразличием.

Деверель покатал по столу пустой стакан.

— Бейтс! Еще бренди для мистера Девереля!

— Вы — сама доброта, мистер Тальбот. Скажу вам… — Он снова залился смехом.

— Что именно, сэр?

Только сейчас я заметил, что офицер смертельно пьян. Лишь врожденная утонченность его манер не позволила мне заметить этого с самого начала.

— Капитан. Проклятый капитан, — пробормотал он и уронил голову на стол.

Стакан полетел на пол и разбился. Я попытался поднять Девереля, но не сумел и кликнул стюарда, как более привычного к такого рода вещам. По трапу наконец-то застучали шаги — зрители возвращались с представления. Я выскочил из салона и смешался с толпой. Мимо меня проскочила мисс Грэнхем. Мистер Преттимен что-то вещал, придерживая ее за плечо. Стоксы соглашались с Пайками в том, что шутка зашла слишком далеко. Тут же была мисс Зенобия — сияющая, окруженная офицерами, словно бы никуда и не отлучалась.

— Правда же, очень весело, мистер Тальбот? — окликнула она меня.

— Никогда в жизни так не веселился, мисс Брокльбанк, — согласился я и вошел в каюту.

Там, казалось, до сих пор витал аромат женских духов. Честно признаться, хотя раздражение еще властвовало надо мной, когда я сел и принялся за эту запись — оно начало уступать место печали. Боже милосердный! Неужели Аристотель прав в своих взглядах на мужчин и женщин так же, как прав он в отношении социального устройства? Надо как-то отвлечься, потому что мысль о том, каким скотским способом появляется на свет племя людское, очень меня удручает.

ДЗЭТА

Сейчас все та же ночь и я постепенно прихожу в себя, переставая видеть все в черном свете. Смешно, но я гораздо больше боюсь, что Виллер обо всем догадается и расскажет приятелям, чем переживаю о нравственной стороне происшедшего. Во-первых, я так и не смог придать подставке для таза прежнюю форму, во-вторых, проклятые духи до сих пор не выветрились. Черт бы побрал бестолковую девицу! Оглядываясь назад, я понимаю, что всю жизнь буду помнить не столько лихорадочный и излишне быстрый миг наслаждения, сколько неожиданную встречу со Сценой, на которую Зенобия словно бы выпархивала всякий раз, когда ее чувства были обострены, или, скорее, подчеркнуты. Разве может актриса не подчеркивать своих чувств? И разве не возблагодарит она ситуацию, в которой они обнажены более обычного? И не именуется ли таковое поведение театральным? Во времена моего скромного знакомства с любительскими постановками в университете наставники показали нам несколько приемов, можно сказать,

приоткрыли профессиональные тайны. Так вот, после моей реплики: «Обнаружатся — тогда и будем думать!» — Зенобия, сидевшая вполоборота, отвернулась совсем и подалась прочь, не сомневаюсь, что и отскочила бы, позволь ей это размеры каюты — то есть проделала движение, которое, как нам объясняли, называется правильным уходом со сцены. Поняв это, я захохотал и почти пришел в себя. Как сказал бы капитан — из одного священника на корабле один точно лишний, а театр прекрасно уравновешивает избыточный морализм. Недаром господин преподобный и мисс Брокльбанк дали нам во время службы такое дивное представление. В тот же миг мне в голову пришел сюжет, достойный самого Шекспира. Колли нашел Зенобию привлекательной, она продемонстрировала готовность пасть на колени перед мужчиной духовного звания — из них выйдет прекрасная пара! Может, стоит оказать им услугу — тем более некий мелкий бес шептал мне, что услугу я окажу на самом деле троим, включая себя самого.

Вознести этих малосимпатичных Беатриче и Бенедикта на вершину страсти? «Я охотно сделаю все, что прилично, чтобы доставить кузине

доброго мужа».[23] Написав последние слова, я засмеялся в голос. Можно только надеяться, что остальные пассажиры, лежащие в койках, сейчас, глубокой ночью, когда склянки пробили три, решат, что я смеюсь во сне, как та самая Беатриче. Что ж, решено: в ближайшее время уделю мистеру Колли особое внимание — во всяком случае, до тех пор, пока мисс Брокльбанк не обнаружит, что французы ей больше не грозят!

[23] Примечания: 23

В. Шекспир, «Много шума из ничего», акт II, сцена 1 (пер. А. Кронеберга).

(Z)

Зет, именно зет, вы не ошиблись: понятия не имею, что сегодня за день, зато какая у нас была суматоха! Какой скандал!

Я поднялся в привычный час, чувствуя, как сводит лоб — следствие, как я решил, слишком обильных возлияний слишком скверного бренди с мистером Деверелем. Оделся, вышел на палубу, чтобы ветер выдул дурноту, и тут из коридора показался не кто иной, как наш преподобный, которого, моими стараниями, ждало столь прекрасное будущее. Помня о своих планах, я приподнял шляпу и пожелал ему доброго утра. Он поклонился, заулыбался и, в свою очередь, приподнял треуголку, с достоинством, которого я ранее за ним не замечал. Не иначе как Земле Ван-Димена[24] понадобился епископ! Я с удивлением следил, как священник твердой походкой поднялся по трапу на ют, где столбом стоял мистер Преттимен, сжимая свое нелепое оружие. Я помахал и ему, так как, хоть сейчас я и уделяю пристальное внимание мистеру Колли,

---

[24] Примечания: 24
Первоначальное название о. Тасмания.

мистер Преттимен, уж будьте уверены, никогда не выпадет из поля моего зрения.

— Ну что, подстрелили своего альбатроса?

Мистер Преттимен подпрыгнул от негодования.

— Нет, сэр! Что за нахальство — выбить ружье прямо у меня из рук! Грустно и смешно! Кругом невежество, дикость и махровое суеверие!

— Конечно, конечно. Во Франции такое было бы невозможно, — умиротворяюще поддакнул я и двинулся на шканцы.

Вскарабкался по трапу, и каково же было мое удивление, когда я обнаружил там мистера Колли собственной персоной. В круглом парике, треуголке и черной мантии, он стоял перед капитаном Андерсоном прямо на священной земле — то есть палубе! Когда я шагнул на последнюю ступеньку, капитан резко повернулся, отошел к поручню и сплюнул за борт. Он был красен лицом и зол, как горгулья. Мистер Колли сдержанно приподнял шляпу и направился к трапу. Навстречу ему попался лейтенант Саммерс, и они очень серьезно поприветствовали друг друга:

— Если я не ошибаюсь, мистер Саммерс, именно вы разоружили мистера Преттимена?

— Да, сэр.

— Никто не пострадал?

— Я выстрелил в воздух.

— Мой долг — поблагодарить вас за это.

— Не стоит благодарности. Лучше… мистер Колли!

— Да, сэр?

— Прошу вас, примите мой совет.

— По какому поводу, сэр?

— Не торопитесь. Экипаж совсем новый, людей мы почти не знаем. После вчерашнего… Понимаю, вы не одобряете спиртное в любом его виде, но… Я прошу вас подождать, пока матросам не раздадут ром. После этого они если и не внимают голосу разума, так хотя бы становятся спокойней и дружелюбней.

— У меня есть защита, сэр.

— Поверьте мне, я знаю, о чем говорю! Когда-то я был в их шкуре…

— Меня охраняет Господь.

— Сэр! Мистер Колли! Раз уж хотите меня отблагодарить, сделайте одолжение — погодите всего лишь час!

Воцарилась тишина. Мистер Колли заметил меня и церемонно поклонился, прежде чем ответить мистеру Саммерсу:

— Будь по-вашему, сэр.

Джентльмены снова раскланялись. Мистер Колли направился в мою сторону, так что пришлось и мне кланяться еще раз. Версаль — не иначе! Священник начал спускаться по трапу. Откуда же в нем столько чопорности? Шекспировский план потеснило жгучее любопытство. Боже мой, думал я, неужто Южное полушарие заполучило себе архиепископа! Я поспешил за пастором и перехватил его, когда он уже готов был скрыться в коридоре.

— Мистер Колли!

— Да, сэр.

— Я давно хотел познакомиться с вами поближе, но обстоятельства, к сожалению, складывались таким образом…

Грубую физиономию Колли расколола улыбка. Он сорвал шляпу, прижал ее к животу и начал кланяться, извиваясь в реверансах. Архиепископ тут же съежился до размеров викария — нет, бродячего проповедника. Презрение вернулось, почти заглушив любопытство. Но я напомнил себе, как нуждается в его услугах Зенобия и что я должен держать его в запасе или, как говорят военные моряки, в резерве!

— Мистер Колли, мы никак не можем как следует познакомиться. Хотите, прогуляемся

как-нибудь по палубе?

Что тут началось! Лицо священника, и без того обожженное тропическим солнцем, покраснело еще сильнее, а потом так же стремительно побледнело. Клянусь, в глазах его показались слезы! Кадык на шее заплясал вверх-вниз над полотняными ленточками.

— Мистер Тальбот, сэр!.. У меня нет слов… Как я мечтал… Столь благородно с вашей стороны — вашей и вашего покровителя… Какое великодушие… Истинно христианское милосердие… Бог да благословит вас, мистер Тальбот!

Он нырнул в поклоне еще раз, отошел на ярд или два, нырнул снова и исчез в своей каюте.

Откуда-то сверху раздалось презрительное фырканье; я поднял голову и увидел мистера Преттимена, глядящего на нас из-за леера, со шканцев. Он тут же повернулся и исчез из виду. Да я и не обратил на него особого внимания, все еще переваривая эффект, который мои слова произвели на Колли. Разумеется, у меня подобающая моему сословию внешность и надлежащий костюм. Я осознаю как свое положение, так и то, что будущая должность возможно — заметьте, я сказал: возможно! — добавит мне чуть больше веса в обществе, чем обыкновенно бывает в мои

годы. В чем, ваша светлость, так или иначе, будете повинны вы — впрочем, разве не обещал я, что не стану более надоедать вам выражениями благодарности? Итак, во мне нет ничего такого, что заставляло бы этого странного человека относиться ко мне, как к особе королевской крови. Я полчаса погулял между срезом шканцев и гротмачтой, чтобы освежить голову и всесторонне обдумать ситуацию. Видимо, случилось что-то мне неизвестное — скорее всего во время представления, когда я был всецело занят борьбой с прелестным врагом. Не могу сказать, что именно, равно как и почему оно заставило мистера Колли прийти в такой восторг от моего безобидного приглашения. А тут еще лейтенант Саммерс, который разрядил мушкет Преттимена, не задев при этом никого из окружающих! Невероятная оплошность со стороны опытного офицера! В общем, сплошные загадки и тайны, особенно непонятна явная благодарность Колли за мое к нему внимание. Обидно, что нельзя расспросить обо всем пассажиров или моряков, так как тогда придется обнаружить счастливое неведение, вызванное тем, что весь вчерашний вечер я провел с Женщиной. Что же делать? Я вернулся в коридор и решил пойти в салон, чтобы по обрывкам

разговоров попытаться восстановить причину странной признательности мистера Колли. Тут из своей каюты выскочила мисс Брокльбанк и схватила меня за руку.

— Мистер Тальбот… Эдмунд!

— Чем могу быть полезен, мадам?

В ответ — глубокое контральто, пианиссимо:

— Письмо!.. О Господи! Что же мне делать?!

— Зенобия! Расскажите мне все!

Если мой ответ показался вам несколько театральным, то вы правы — так оно и было. Мы словно бы перенеслись на сцену.

— О небо! Такой маленький листочек бумаги! Потерялся, пропал!

— Дорогая, я вам ничего не писал! — мигом соскочив с подмостков, открестился я.

Ее божественная грудь вздымалась все выше и выше.

— Оно от другого!

— Что ж, за других я не в ответе. Обращайтесь к ним, а мне пора. Всего…

Я хотел было ретироваться, но Зенобия вцепилась в меня еще крепче.

— Записка совершенно невинная, но… может быть неверно истолкована. Я, верно, обронила ее… о, Эдмунд, вы знаете где!

— Уверяю вас, когда я убирал каюту после известного вам события, я обязательно заметил бы…

— Прошу! Умоляю!

В ее взгляде читалась безусловная вера в меня, смешанная со страданием, которое, как известно, очень украшает и без того блестящие глазки. Впрочем, кому я это говорю — ведь вы, ваша светлость, по сей день окружены обожательницами, которые пожирают глазами того, кем они хотели бы, да не могут, обладать — кстати, не слишком ли грубо я льщу? Помнится, вы учили меня, что лесть чаще всего достигает цели, когда она приправлена истиной!

Зенобия прижалась ко мне и промурлыкала:

— Она должна быть в вашей каюте. Если ее обнаружит Виллер, я пропала!

И я тоже, черт побери! Неужели именно на это она и намекает?

— Ни слова больше, мисс Брокльбанк! Все понятно!

Я ушел в правую кулису. Или в левую? В театре все так запутано. Скажем так: я направился в свою просторную обитель по левому борту судна, открыл дверь, вошел, закрыл дверь и приступил к поискам. Не знаю ничего более отвратительного,

чем искать небольшую вещицу в тесном помещении. Первое, что я обнаружил — в каюте толчется еще пара ног помимо моих. Я поднял глаза.

— Ступайте, Виллер! Ступайте!

Он повиновался. На бумажку я наткнулся почти сразу же после его ухода — как только отчаялся ее найти. Хотел налить воды в парусиновый таз и увидел там сложенный листок. Я схватил его и собирался было нести в каюту к Зенобии, но застыл, пораженный догадкой. Утром я совершил свое обычное омовение. После этого парусиновый таз был вылит, а койка заправлена.

Виллер!

Я мигом развернул бумажку и сделал глубокий вдох.

Записка была совершенно безграмотной.

ДРАГОЦЕНАЯ И ОБАЖАЕМАЯ НЕМОГУ БОЛЬШЕ ЖДАТЬ! Я НАКОНЕЦТО НАШОЛ МЕСТО ГДЕ НИКОВО НЕТ! СЕРЦЕ БЪЕТСЯ В ГРУДИ КАК НЕ БИЛОСЬ ДАЖЕ В МИНУТЫ ОПАСНОСТИ! ЛИШ НАЗОВИТЕ ВРЕМЯ И МЫ УЛЕТИМ НА НЕБЕСА!

ВАШ БРАВЫЙ МАРЯК

Бог мой, подумал я, что же это за вознесенный на вершину смехотворности лорд Нельсон? А Зенобия, очевидно, вообразила себя Эммой Гамильтон и поразила неизвестного «бравого

маряка». Я совершенно запутался. Сперва полный достоинства мистер Колли, теперь записка… Саммерс с мушкетом Преттимена, который на самом деле — Брокльбанка… Я захохотал и кликнул Виллера.

— Пришлось вам у меня тут поработать. Что бы я без вас делал?

Виллер лишь молча поклонился.

— Спасибо за усердие. Вот вам полгинеи. Вы ведь иногда страдаете забывчивостью, не правда ли?

Слуга и взглядом не повел в сторону раковины.

— Спасибо, мистер Тальбот, сэр. Можете положиться на меня в любое время.

Он исчез. Я снова проглядел записку. Это явно не Деверель, джентльмен не может писать столь неграмотно. И что же теперь делать?

Был миг — и когда-нибудь, в далеком будущем, я наверняка над собой посмеюсь, — когда я, поддавшись магии театра, сообразил, как мне избавиться разом и от Зенобии, и от пастора: подкинуть записку в его каюту, а потом «обнаружить». Что это, сэр, неужто письмо к мисс Брокльбанк?! Как можно, ведь вы же слуга господень! Кайтесь, нечестивец, а пока позвольте поздравить вас с любовной интрижкой!

Последняя выдумка отрезвила меня, вызвав изумление и досаду. Подумать только — я, человек, считающий себя разумным и благородным, замышляю действо не то чтобы преступное, но низкое и постыдное! До чего же я докатился! Видите — я ничего не скрываю. Сидя на краешке койки, я пытался понять, что довело меня до гнусных мыслей, и решил, что корень всех бед лежит в драматической натуре Зенобии — то фарс, то мелодрама, одним словом: театр! Так пускай провозгласят во всех школах — Платон был прав!

Я встал, дошел до соседней каюты, постучал. Зенобия открыла, я сунул ей записку и вернулся к себе.

(ОМЕГА)

Омега, омега, омега. Сцена последняя, я уверен! Больше уж ничего не может случиться — разве что пожар, кораблекрушение, атака врага или чудо. И даже в этом, последнем, случае развязка, я уверен, будет театральной — нечто вроде божественного вмешательства. Хоть я и отказался позорить себя сим недостойным занятием, удержать весь корабль от лицедейства просто не в моих силах! Сейчас мне должно было бы предстать пред вами в мантии глашатая — к примеру, из вашего Расина… Ох, простите мне это «ваш», не могу думать о нем иначе… Или мне стоит держаться греков? Итак, спектакль. Трагедия или фарс? Но разве трагедия не основана на величии главного героя? Иначе как же он сможет величественно пасть? А фарс в нашем случае напоминает комедии с Полишинелем. Тут герой падает скорее в глазах общества. О смерти речи не идет. Он не выколет себе глаза, и разгневанные фурии не станут преследовать его: он не совершал злодеяний, не преступал законов, — разве что наш самодур-капитан держит еще парочку в

запасе, для самых неосторожных.

Избавившись от записки, я вышел на палубу подышать свежим воздухом и поднялся на шканцы. Капитана там не было, вахту несли Деверель и престарелый гардемарин Дэвис, который при свете дня казался сущей развалиной. Я помахал Деверелю и вернулся, намереваясь перекинуться словечком с Преттименом, который с упрямством безумца патрулировал палубу (мне все больше и больше кажется, что этот человек не может представлять государственной опасности. Никто не принимает его всерьез. Тем не менее я помню свой долг и продолжаю водить с ним знакомство). Преттимен не обратил на меня внимания. Он смотрел на шкафут. Я последовал его примеру.

Каково же было мое удивление, когда я разглядел спину мистера Колли, который спустился со шканцев и проследовал на ту часть судна, что предназначалась для простонародья. Это и само по себе было удивительно, так как он пересек белую линию у грот-мачты, означавшую, что дальше им ходу нет — разве что по приглашению или по делу. Но еще удивительней было то, что Колли облачился в полное церковное одеяние! Стихарь, риза, капюшон, парик и шляпа под тропическим солнцем выглядели по крайней мере

глупо! Двигался он торжественно, размеренным шагом, точно в церкви. Разлегшиеся на солнышке люди мигом вскочили — как мне показалось, несколько оробев. Мистер Колли исчез в кубрике. Видимо, именно об этом он говорил с Саммерсом. Наверное, матросам уже раздали ром — в самом деле, я припомнил боцманскую дудку и крики «За ромом подходи!», на которые не обратил внимания, потому что они стали уже слишком привычны. Судно шло легко, солнце жарило. Матросы наслаждались отдыхом или, как назвал это Саммерс, временем на «зашить — зачинить». Я постоял на палубе, почти не обращая внимания на гневные речи Преттимена по поводу, как он выразился, варварских пережитков, и с любопытством ожидая возвращения пастора. Ведь не закатит же он там полную службу? Хотя шел, вернее шествовал, он так, будто его окружала толпа каноников вместе с самим настоятелем, да еще и под звуки ангельского хора, — что, разумеется, не могло не возбудить во мне интереса. Я понял, в чем его ошибка. Не получивший власти по праву рождения, он переоценивал важность своего сана. И сейчас направлялся к низшим классам во всем блеске Церкви Торжествующей

— или же Церкви Воинствующей?[25] Эта картина тронула меня, так как Колли являл собой одну из основ, которые привели английское или даже, не побоюсь этого слова, британское общество к тому расцвету, которым оно наслаждается и поныне. Только что передо мной прошла Церковь, а сзади, в своей каюте сидит Государство в лице Андерсона. Какой же кнут окажется более хлестким? Кошка — девятихвостка, которую капитан хранит в красном саржевом футляре (хотя при мне еще ни разу не применял), или умозрительное, выдуманное наказание — страх перед адским огнем? Потому что, судя по оскорбленному и вместе с тем величавому виду мистера Колли, ему нанесли какую-то обиду — уж не знаю, настоящую или вымышленную. Я бы не удивился, если бы услышал из кубрика вопли раскаяния или крики ужаса. Не знаю, сколько я простоял так, ожидая, что же случится. В конце концов, решил, что уже не случится ничего, вернулся в каюту и занялся вот этой записью, которую, еще тепленькую, и представляю вашему вниманию. Прервал меня шум.

Догадаетесь ли вы, ваша светлость, в чем было

---

[25] Примечания: 25

Церковью Торжествующей в христианской традиции считается Церковь Небесная, Церковью воинствующей — земная.

дело? Думаю, нет — даже вы! (Видите, я льщу все искуснее — что же будет дальше!)

* * *

Первым делом из кубрика раздались аплодисменты. Не те, что следуют за удачной арией или даже прерывают оперу на несколько минут. В них не было истеричности, публика не выходила из себя, никто не швырял цветы и деньги по примеру тех молодых оболтусов, что раз, на моих глазах, пытались попасть прямо в грудь знаменитому актеру. Эти же, как подсказало мне опытное ухо, хлопали так, как положено, как хлопал бы я сам в театре Шелдона,[26] среди своих друзей, если бы какому-нибудь важному иностранцу присваивали почетную ученую степень. Я торопливо выскочил на палубу, нотам уже воцарилась тишина. Мне показалось, что я слышу голос пастора, и я решил было подойти поближе. Но потом вспомнил, какое количество проповедей уже выслушал в своей жизни и сколько еще буду вынужден выслушать. Путешествие, несмотря на все его тяготы, в этом смысле явилось отдыхом.

---

[26] Примечания: 26

Дом совета Оксфордского университета, где проводятся торжественные собрания, концерты. Здание построено Кристофером Реном в 1668 году на средства архиепископа Кентерберийского Гилберта Шелдона (1598–1677 гг.).

Так что я решил подождать, пока наш новый герой, Колли, не убедит капитана, что его дряхлой посудине необходим целый ряд церемоний. А когда перед моим мысленным взором проплыло некое издание под заголовком «Проповеди Колли» или даже «Колли и его Плавание по Жизни», я заранее решил, что откажусь от подписки.

Я уж было собрался отойти в слабо колыхавшуюся тень какого-нибудь паруса, когда снова услыхал взрыв аплодисментов — неожиданный и более дружелюбный, чем раньше. Не буду уточнять, как редко пастор в полном облачении или, как называет это юный мистер Тейлор, «в пух и прах расфуфыренный», удостаивается аплодисментов. Стоны и слезы, вопли раскаяния и благочестивые причитания — вот чего он мог бы ожидать, окажись его проповедь удачной; тишина и унылые зевки стали бы ему наградой, останься он все тем же унылым занудой. Но хлопки, которые я услышал из кубрика, казалось, поощряют номер какого-нибудь жонглера или акробата. Словно Колли, подбросив в воздух шесть фарфоровых тарелок и заработав этим первую порцию аплодисментов, теперь поставил на лоб бильярдный кий, удерживая на нем ночной горшок!

К этому времени я уже сгорал от любопытства и готов был рвануться туда, чтобы все выяснить, когда с вахты сменился Деверель и не иначе как со скрытым намеком начал обсуждать со мной красотку Брокльбанк! Я решил, что он меня подозревает, и, как любой молодой человек на моем месте, почувствовал себя польщенным, хоть и струсил немного, представив себе, что будет, если раскроется наша связь. Сама прелестница стояла у левого борта, глядя в рот мистеру Преттимену. Я увлек Девереля с собой в пассажирский коридор, где мы с изрядной долей свободы обсудили пресловутую даму, после чего мне пришло в голову, что во время моего недомогания Деверель, возможно, также добился успеха, хотя и предпочитает говорить об этом исключительно намеками. Выходит, мы в одной лодке? О небо! Что ж, морской офицер — тоже джентльмен, и мы ни при каких обстоятельствах не выдадим друг друга. Выпив со мной рюмку-другую в салоне, Деверель ушел по делам, а я направился было в свою каморку, когда меня остановил шум, да не просто шум — громовой хохот! Представить себе остроумного Колли было выше моих сил, поэтому я решил, что он уже покинул кубрик, и матросы хохочут ему вслед, как расшалившиеся школь-

ники, что передразнивают строгого учителя, как только тот выйдет из класса. Я поднялся на палубу, оттуда на шканцы, но не увидел никого, кроме стоящего на полубаке дозорного. Все были внутри, в кубрике. Выходит, решил я, Колли сказал все, что хотел, и теперь переодевается у себя в каюте. Но корабль уже охватило любопытство. За моей спиной палубу заполнили пассажиры и офицеры. Некоторые, посмелее, встали рядом со мной, на шканцах, у леера. Призрак театра, преследующий меня и влияющий на все мои размышления, подчинил себе, казалось, все судно. В какой-то миг я испугался, что офицеры боятся мятежа, потому и вышли на палубу. Но нет — если бы Деверель что-то подозревал, он бы не вел себя так спокойно. И все-таки все смотрели вперед — на большую и неизведанную часть корабля, где, уж не знаю как, развлекались матросы. Мы превратились в зрителей, а там, за шлюпками и гигантским цилиндром грот-мачты лежала сцена. Срез полубака поднимался, как стена дома, украшенная двумя лестницами и двумя же входами на каждой стороне, дразня зрителей, с напряженным любопытством ожидающих: состоится спектакль или их постигнет жестокое разочарование? Никогда я столь остро не чувство-

вал разницы между сумбурностью подлинной жизни с ее случайностями, недоговорками и будоражащими душу секретами и театральной фальшью, которую я некогда принимал за реальность. Не решаясь спросить, что происходит, я ломал голову над тем, как выяснить это самому, не демонстрируя неподобающего любопытства. Разумеется, ваш любимец вывел бы на сцену героиню и ее подругу, мой вместо этого добавил бы ремарку: «Появляются два матроса». Все, что я слышал со своего места — это растущее возбуждение в кубрике и не меньшее — среди пассажиров, не говоря уже про офицеров. Я все ждал какого-то события, и вот оно произошло! Двое юнг — не гардемаринов, нет! — вылетели из двери по левому борту, скрылись за грот-мачтой и столь же неожиданно влетели обратно по правому! Я пытался понять, что за идиотская проповедь может служить источником подобного веселья, когда заметил капитана, который с непроницаемым лицом стоял на шканцах и взирал на происходящее. Мистер Саммерс, старший офицер, торопливо и взволнованно вскарабкался по трапу и подбежал к Андерсону.

— Да, мистер Саммерс? — откликнулся тот.

— Умоляю вас, позвольте мне их утихомирить!

— Нам не пристало вмешиваться в дела церкви, мистер Саммерс.

— Сэр, матросы… Сэр!

— Что с ними?

— Они пьяны, сэр!

— Что ж, проследите, чтобы виновные были наказаны.

Капитан отвернулся от Саммерса и словно бы впервые заметил меня.

— Добрый день, мистер Тальбот! Надеюсь, вы довольны последними днями путешествия?

Я ответил, что да, доволен, выразив согласие словами, коих сейчас уже не припомню, так как в тот момент был целиком захвачен переменой, произошедшей в капитане. Выражение лица, с которым он выслушивал подчиненных, можно сравнить разве что с открытой дверью тюрьмы. Обычно он выпячивает нижнюю челюсть и свешивает на нее всю остальную физиономию, мрачную и нахмуренную под нависшими бровями — зрелище не для слабонервных! Однако сегодня и в лице его, и даже в голосе проскальзывал некий намек на веселье!

— Позвольте по крайней мере… Гляньте-ка, что там творится! — вскрикнул Саммерс, указывая куда-то пальцем.

Я обернулся.

Вы никогда не размышляли над тем, почему мы знаменуем окончание учебы тем, что натягиваем на себя средневековые капюшоны и венчаем головы лотком штукатурщика (кстати, а перед ректором хорошо бы нести золоченое корытце для раствора… Извините, отвлекся). Из левого выхода появились два силуэта, которые теперь следовали к правому. Раздавшийся в это же время звон склянок и явно ироничный возглас «Все спокойно!» сделал их похожими на фигурки каких-то причудливых часов. На первом красовался черный, отороченный мехом капюшон, который не свисал на спину, а был натянут на голову, точно на миниатюрах в иллюстрированных манускриптах времен Чосера. Человек придерживал его рукой под подбородком, как дамы придерживают шаль, а второй рукой упер-ся в бедро и семенил по палубе преувеличенно жеманной женской походкой. За ним, шаркая, тащился второй, в матросской робе и потрепанной академической шапочке. Как только оба скрылись в кубрике, оттуда донесся новый взрыв смеха и поощрительные выкрики.

Позволю себе замечание, после которого вы, ваша светлость, скорее всего подумаете, что ваш

крестник задним умом крепок. Сценка была предназначена не столько тем, кто сидел внутри, сколько нам — тем, что столпились на корме! Встречались ли вам актеры расчетливо направляющие монолог то подальше, то поближе, то на галерку, то в дальние углы зала? Так и те двое, что прошествовали перед нами, адресовали свой портрет людской слабости и ограниченности прямиком на корму, где собрались их господа. Если ваша светлость имеет хоть малейшее понятие, сколь проворно распространяются сплетни на корабле, вы сможете представить себе скорость — нет, стремительность! — с которой новости о происшествии на полубаке разнеслись по судну. Моряки, пассажиры — у всех тут же нашлись какие-то дела. Все сбежались наверх, сознавая, что нас объединяет одно: угроза общественному спокойствию, которая влюбой момент могла вскипеть среди простонародья. Выходка матросов отличалась грубостью и заносчивостью, а повинны в ней были мистер Колли и капитан Андерсон: первый стал ее причиной, второй допустил ее. На протяжении целого поколения (несмотря на победы нашего оружия) цивилизованный мир горько оплакивал последствия недостатка дисциплины среди галльской расы. Я

с отвращением выбрался со шканцев, едва обращая внимание на тех, кто со мной здоровался. На палубе стояли мистер Преттимен с мисс Грэнхем. Я не без язвительности подумал, что вот ему наглядный пример свободы, за которую он так ратует! Капитан ушел, оставив за себя Саммерса, который все так же напряженно поглядывал на нос, будто ожидал появления врага, Левиафана или, на худой конец, морского змея. Я уже хотел удалиться на шкафут, когда из коридора вышел мистер Камбершам. Я собрался расспросить его о происходящем, но из кубрика вихрем вылетел Томми Тейлор и бросился на корму. Камбершам мгновенно сцапал его.

— Что за поведение, юноша?!

— Сэр, мне надо к старшему офицеру, честно-честно, разрази меня гром!

— Опять сквернословите, щенок?

— Да там пастор этот, сэр, говорю вам, он там!

— Хватит дерзить, жалкая козявка, для вас он — мистер Колли!

— Конечно, сэр, конечно! Мистер Колли там, в кубрике, надрался, как сапожник!

— Ступайте вниз, сэр, а не то окажетесь на мачте!

Мистер Тейлор предпочел исчезнуть. Я же за-

стыл в полном изумлении, осознав наконец, что и во время непонятного веселья, и даже во время дерзкого спектакля, когда на палубе кривлялись фигурки из часов, мистер Колли оставался в кубрике. Мне тут же расхотелось в каюту. К тому времени народ толпился не только на палубе. Зрители поживее залезли на ванты бизань-мачты, а на шкафуте — говоря по — театральному, в партере — собралась толпа. Забавно, что окружавшие меня дамы не менее мужчин выказывали живой интерес к происходящему. Желая, разумеется, только одного: удостовериться, что дошедшие до них слухи — бессовестная ложь, да-да-да, пусть их убедят, что все это сплошные выдумки, иначе они ужасно, ужасно расстроятся, и неужели, неужели такое и впрямь могло случиться — нет, нет, не могло, а если все же, вопреки всем вероятностям, это правда, они никогда, никогда… Только мисс Грэнхем с непроницаемым лицом спустилась по трапу и исчезла в коридоре. Мистер Преттимен с мушкетом в руках несколько раз перевел взгляд с нее на шканцы и обратно, а потом поспешил следом. Все, кроме этой суровой пары, остались на местах, перешептываясь и кивая, так что корма напоминала скорее комнату для совещаний, чем палубу военного корабля. Прямо подо мной тя-

жело оперся на палку мистер Брокльбанк, возле него, с каждой стороны, согласно покачивались шляпки дам. Рядом молча стоял Камбершам. На палубе вдруг воцарилась тишина, такая, что стали слышны обычные звуки корабля — плеск волн о борт, посвистывание ветра в снастях. И в этой тишине мои — вернее, наши — уши уловили словно бы ее порождение: далекий мужской голос. Голос мистера Колли. Такой же слабый и чахлый, как и его обладатель, голос выводил знакомые слова знакомой песенки, которую поют и в пивных, и в изысканных гостиных, Колли мог выучить ее где угодно.

«Где гулял ты день-деньской, Билли-бой?» Потом наступила недолгая тишина, и голос затянул следующую песню, мне незнакомую. Слова, видимо, были с перчиком, что-нибудь из сельских куплетов, потому что в ответ раздались взрывы хохота. Деревенский мальчишка, рожденный, чтобы собирать камешки и кидаться ими в птиц, наверняка подслушал их где-нибудь под изгородью, у которой отдыхали наработавшиеся крестьяне.

Когда я вспоминаю эту сцену, я не могу объяснить охватившую всех уверенность, что невинная оплошность Колли выльется в серьезный

скандал. Предыдущие события убедили меня в том, что нет ни малейшего толка смотреть в сторону сцены, то есть кубрика, так как это не дает представления о размахе и подробностях драмы. И все-таки я чего-то ждал. Ваша светлость может совершенно резонно спросить: «Неужто вы никогда не слыхали о нализавшемся пасторе?». А я отвечу, что слыхать слыхал, а видать — никогда не видел. Да и обстоятельства бывают разные.

Пение стихло. Снова раздался смех, аплодисменты, потом неодобрительные крики и свист. Появилась надежда, что мы наконец-то получим хоть какое-то представление о происходящем, что было бы только справедливо, учитывая качку, скуку и опасность, которыми мы платили за места в зале. Именно в этот переломный момент капитан вышел из каюты на шканцы, занял место у леера и оглядел сцену и зрительный зал. Лицо его было сурово — не хуже, чем у мисс Грэнхем. Он суховато сообщил Деверелю, который к тому времени заступил на вахту, что священник до сих пор в кубрике, причем в голосе его звучал явный намек, что это — личный недосмотр самого Деверея. Сделав пару кругов по шканцам, капитан вернулся назад и обратился к лейтенанту уже более дружелюбно:

— Мистер Деверель! Будьте добры, уведомьте пастора, что ему пора в каюту!

Все напряглись и застыли, когда Деверель повторил приказ Виллису, который, в свою очередь, козырнул и отправился в кубрик. Десятки взглядов уперлись ему в спину. Десятки ушей услышали, как мистер Колли обратился к нему так ласково, что мисс Брокльбанк запылала как пион. Юный джентльмен выскочил из кубрика и, хихикая, помчался обратно. Однако мало кто обратил на него внимание, потому что следом, из левой двери, как какой-нибудь лилипутский Полифем, нелепый и отвратительный, выбрался Колли. Его церковный наряд исчез вместе со всеми признаками сана: париком, бриджами, чулками и туфлями. Какая-то добрая душа в приступе жалости снабдила его парусиновой рубахой от матросской робы, которая, в силу тщедушности пастора, прикрывала ему бедра. Поддерживал его молодой здоровяк, голова Колли лежала на его груди. Когда эта нелепая парочка проходила мимо грот-мачты, мистер Колли качнулся назад так, что им пришлось остановиться. Было очевидно, что он плохо понимает, где он и что с ним происходит. Его переполняло невероятное веселье. Взгляд плавал, явно не сосредоточиваясь

на окружающем. Телосложением пастор тоже похвалиться не мог. Голова без парика оказалась маленькой и узкой. На ногах почти не было икр, вместо них капризная Природа наградила его огромными коленями и ступнями, выдающими простонародное происхождение. Он бормотал какую-то чепуху, даже напевал. И вдруг, словно только что заметив собравшихся зрителей, отшатнулся от провожатого, выпрямился на нетвердых ногах и, протягивая руки, будто желал обнять нас всех, выкрикнул:

— Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь!

После чего погрузился в задумчивость. Повернулся направо, медленно и осторожно дошел до фальшборта и помочился на него. Как завизжали, прикрывая лица ладонями дамы, как вознегодовали мужчины! Мистер Колли повернулся к нам и открыл рот. Даже сам капитан не мог бы добиться такой мгновенной тишины.

Пастор воздел правую руку и проговорил заплетающимся языком:

— Да пребудет на вас благословение Божье, во имя Отца, Сына и Святого Духа!

Ну и шум тут поднялся, доложу я вам! Если публичное отправление естественных надобностей возмутило дам, то благословение от пьяного в

одной рубахе вызвало волну негодующих выкриков, поспешных уходов и даже один обморок. Не прошло и секунды, как Филлипс и мистер Саммерс уволокли бедолагу с глаз долой, в то время как матрос, приведший его на корму, стоял и смотрел им вслед. Едва Колли исчез, моряк поднял глаза на шканцы, почтительно козырнул и скрылся в кубрике.

Подводя итоги, скажу, что зрители остались довольны. Капитан Андерсон, подойдя к дамам, вел себя так, словно был устроителем выступления Колли, и с невероятной любезностью, в нарушение собственных правил, пригласил прогуляться по шканцам. Он вежливо, но непреклонно отказался обсуждать произошедшее, однако поступь его была исполнена легкости, а в глазах сиял тот свет, который, как я всегда считал, загорается у военного моряка только перед битвой. Остальные офицеры быстро успокоились. Они навидались пьяных, да и сами бывали героями подобных происшествий, так что отнеслись ко всему, как к части корабельной истории. И что такое моча пьяного Колли для военного, который видел на палубе кровь и кишки своих товарищей?

Я вернулся в каюту, полный решимости снабдить вас настолько полной и живой картиной

случившегося, насколько возможно. Однако не успел я восстановить ход событий, как они посыпались снова. Пока я описывал странный шум из кубрика, в коридоре с грохотом распахнулась дверь. Я вскочил и выглянул наружу через зарешеченное окошко — своего рода глазок. Надо же — Колли вылез из каюты! В руке он сжимал кусок бумаги, а на лице его блуждала все та же счастливая, блаженная, улыбка. Плавая в этой счастливой дымке, он прошествовал к местам общего пользования на нашей стороне корабля. Очевидно, что пастор все еще витал в волшебной стране, которая рано или поздно растает и оставит ему… А что же она ему оставит? Учитывая, что Колли явно не привык к крепким спиртным напиткам… Я представил себе, что он ощутит, придя в себя, и захохотал. Однако быстро успокоился. Плотно закрытая каюта становится настоящей душегубкой.

(51)

По-моему, сегодня пятьдесят первый день нашего плавания, а может быть, и нет. Я совсем потерял интерес к календарю, да и к самому путешествию. Здесь, на борту — свой календарь; мы считаем время по событиям, а с тех пор, как нас повеселил Колли, почти ничего и не происходит. Ему теперь одна дорога — в изгои. Капитан продолжает сиять и лучиться. Колли не показывается из каюты уже четыре дня, прошедшие с момента его падения. Никто не видел его, кроме слуг, если не считать того случая, когда он шествовал в гальюн с бумагой в руке! Ладно, хватит о нем.

Что может вас позабавить, так это хоровод, который мы, молодежь, устраиваем вокруг прелестницы Брокльбанк. Я еще не догадался, кто такой Бравый Моряк, зато точно знаю, что у Девереля с Зенобией была интрижка. Я прижал его к стенке, и он сознался. Мы согласились друг с другом, что любой может потерпеть небольшое кораблекрушение на этом берегу, и договорились в случае чего защищаться вместе плечом к плечу. Метафора так себе, знаю, можете представить,

милорд, до чего довела меня скука. В общем, мы оба думаем, что сейчас она нацелилась на Камбершама. Я считаю, что это к лучшему, и Деверель со мной согласен. Мы оба боялись одних и тех же неприятностей от нашей общей возлюбленной. Вы наверняка помните мой безумный план устроить «Много шума из ничего» и привести нашу Беатриче и Бенедикта-Колли к вершинам страсти! Я поведал о нем Деверелю, он немного помолчал, а потом разразился громким хохотом. Только я собрался сказать, что такое поведение меня оскорбляет, как он с невероятной любезностью попросил прощения и объяснил, что его насмешило забавное стечение обстоятельств, как говорится, нарочно не придумаешь, и он с удовольствием поделится со мной, если я дам слово никому больше об этом не рассказывать. Тут нас прервали, и я так и не узнал, о чем он, но как только узнаю, немедленно сообщу вам.

АЛЬФА

Я совсем пал духом и несколько дней не уделял внимания дневнику. Меня охватила апатия. Делать было почти нечего — гуляй по палубе да пей с кем-нибудь в салоне, а потом опять прогулка, да, быть может, разговор с кем-то из пассажиров. Я еще не рассказывал вам, что когда «миссис Брокльбанк» вышла наконец из каюты, она оказалась чуть ли не моложе собственной дочери? Я стараюсь избегать и ее, и Зенобии, которая от жары блестит так, что вид ее не вызывает ничего, кроме тошноты. Камбершаму, однако, это не мешает. От скуки и тропической жары мы принялись больше пить.

Я было подумывал снабдить вас полным списком пассажиров, но отказался от этой мысли. Вас это вряд ли заинтересует, так что пусть остаются κωφα προσωπα.[27] А вот что на самом деле интересно, так это поведение — или, вернее, отсутствие всякого поведения — Колли. С момента грехопадения он так и не выходит из каюты. К нему время от времени заходит слуга, Филлипс,

---

[27] Примечания: 27
«Лица без слов» (греч.) (Аристофан, «Мир», пер. А. Пиотровского.)

и, как мне показалось, заглядывает мистер Саммерс. Видимо, это часть обязанностей старшего офицера. Неудивительно, что столь бесцветный человек, как Колли, испытывает некоторую робость при мысли о возвращении в приличное общество. Дамы осуждают его безоговорочно. Для меня же одно то, что капитан Андерсон, по выражению Девереля, «здорово отчихвостил» пастора, смягчает любое раздражение в адрес бедолаги.

Мы с Деверелем решили, что Брокльбанк просто-напросто везет с собой двух содержанок. Разумеется, я знаю, что на людей искусства общепринятые нормы морали не распространяются, но все-таки предпочел бы, чтобы он держал свой бордель где-нибудь подальше. Хорошо, что они занимают две каюты, одну — для «родителей», другую — для «дочки», хоть выглядит все пристойно. Что ж, приличия соблюдены, все довольны, даже мисс Грэнхем. Что касается мистера Преттимена — по-моему, он ничего не замечает. Благословенны будьте, иллюзии! Надеюсь, вы прибудете с нами на чужой берег вместе с остальными благами цивилизации!

(60)

Я только что вернулся из пассажирского салона, где мы долго сидели с Саммерсом. Разговор стоит того, чтобы его записать, хотя не могу отделаться от тяжелого чувства, что выглядел в нем не лучшим образом. Должен оговориться, что Саммерс чуть ли не единственный, кто делает честь службе Его Величества. Деверель, несомненно, истинный джентльмен, но к обязанностям своим относится не слишком серьезно. А всех остальных вообще можно было бы запросто уволить. Так что Саммерс — приятное исключение, и я — боюсь, не слишком-то тактично — завел с ним разговор о том, как хорошо, когда человек в жизни поднимается выше своего изначального положения. Разумеется, я сделал это не подумавши, и Саммерс ответил мне с изрядной долей горечи:

— Мистер Тальбот, не знаю как, и стоит ли говорить об этом, но вы сами совершенно ясно дали мне понять, что происхождение человека у него, можно сказать, на лбу написано, и никуда от него не деться.

— Бросьте, мистер Саммерс! Никогда я такого

не говорил!

— Неужели не помните?

— Что именно?

— Ну конечно, — подумав, кивнул Саммерс. — Как только я попробовал встать на вашу точку зрения, мне все стало ясно. К чему вам помнить?

— Да что я должен помнить, сэр?

Саммерс помолчал и четко произнес, глядя в сторону, на фальшборт, словно бы следующие слова были написаны прямо на нем:

— «Что ж, Саммерс, могу только поздравить вас с тем, что вы превосходно овладели речью и манерами более высокого общества, чем то, к которому принадлежали по рождению».

Теперь настала моя очередь замолчать. Лейтенант сказал правду. Ваша светлость может при желании перелистать дневник и найти на предыдущих страницах эти самые слова. Я и сам перечитал запись о той, первой встрече. Разумеется, Саммерс мог бы сделать скидку на то, в каком смущении и замешательстве я тогда находился, но повторил он за мной как по писаному, никуда не денешься!

— Прошу простить меня, мистер Саммерс. Это было просто… бессовестно с моей стороны.

— Зато честно, — жестко ответил Саммерс. — В

нашей стране при всем ее величии перейти из класса в класс так же невозможно, как невозможно дословно перевести текст с одного языка на другой. Сословность — вот язык Британии.

— Бросьте, сэр, — не согласился я. — Разве вы мне не поверили? Безупречный перевод возможен, и я могу привести вам примеры. Также возможен и безупречный переход из класса в класс.

— Видимость перехода…

— В вашем случае — нет. Вы — настоящий джентльмен.

Саммерс вспыхнул, и лицо его не скоро приобрело привычный бронзовый цвет. Я решил, что теперь самое время прощупать почву.

— И все же, дорогой друг, среди нас и впрямь есть пример неудачного перевода.

— Могу предположить, что вы имеете в виду мистера Колли. Что ж, я и сам собирался поднять эту тему.

— Он покинул свой класс, не имея никаких достоинств, могущих помочь ему в дальнейшем продвижении.

— Вряд ли по его нынешним поступкам, не зная наверняка, можно судить, откуда он вышел.

— Неужели? Это сквозит в его внешности, речи

и более всего в привычке к подобострастию, если не сказать — раболепию. Готов поспорить, он из простого крестьянства. К примеру — Бейтс, бренди, пожалуйста! — сам я могу выпить, сколько мне будет угодно, и никто на свете, особенно дамы, не застанет меня в том состоянии, каким насмешил нас и возмутил нас мистер Колли. Очевидно, когда в кубрике его начали угощать, ему не хватило ни сил, чтобы отказаться, ни достаточного воспитания, чтобы противостоять разрушительному воздействию спиртного.

— Вашу мудрость — да в книгу бы.

— Смейтесь, если угодно, сэр. Сегодня я на вас не сержусь.

— Я-то, однако, хотел поговорить совсем о другом. На борту нет врача, а между тем мистер Колли серьезно болен.

— Чем же это? Он молод и мог пострадать единственно от собственной неумеренности.

— И все же. Я говорил со слугой. Заходил в каюту и видел Колли своими глазами. За много лет службы ни я, ни Филлипс не встречали ничего подобного. Постель грязна, а пастор дышит, но не шевелится. Лежит на животе, уткнулся лицом в подушку, одной рукой держится за край койки, а второй вцепился в рым-болт на левой переборке.

— Удивляюсь, как вы еще едите после такой картины.

— Это что! Я пытался его перевернуть.

— Перевернуть? Не сомневаюсь, вам это удалось. Вы ведь втрое его сильнее.

— Только не сейчас.

— Я готов признать, мистер Саммерс, что до сих пор не наблюдал в Колли особого пристрастия к спиртному. Поговаривают, однако, что как-то раз старший наставник моего родного университета, слишком плотно пообедав перед службой, направился к кафедре, но, пошатнувшись, схватился за медного орла и пробормотал: «Кабы не этот чертов додо, загремел бы сейчас!» Подозреваю, вы об этом не слыхали.

Мистер Саммерс покачал головой.

— Я слишком много времени провожу в море, — мрачно ответил он. — Ваша история, вероятно, мало нашумела в тех краях, где я в то время плавал.

— Хотя она того стоит! Надо рассказать ее Колли, может статься, это его взбодрит.

Саммерс задумчиво разглядывал полный стакан.

— В нем чувствуется какая-то непонятная мощь. Словно Ньютонова сила притяжения. Рука,

которой пастор держится за рым-болт, словно бы выкована из железа. А сам он так глубоко вдавился в кровать, будто все его тело налилось свинцом.

— Возможно, ему действительно лучше полежать.

— В самом деле, мистер Тальбот? Неужели и вас, так же, как и всех остальных, не трогает судьба несчастного?

— Я ведь не на службе!

— Тем более могли бы помочь, сэр!

— Чем?

— Могу я говорить с вами открыто? Какое отношение видел к себе этот пассажир?

— Его невзлюбил один человек, а вслед за ним и все остальные. Люди прониклись к Колли сперва безразличием, а затем и презрением, еще до его последней выходки.

Саммерс посмотрел в широкое кормовое окно и снова повернулся ко мне:

— Мои следующие слова буквально уничтожат меня, если я ошибся в оценке вашей натуры.

— Натуры? Моей натуры? Вы тратили время, изучая мою натуру? Вы…

— Простите, меньше всего на свете я хочу вас обидеть, и если бы не отчаянная ситуация…

— Да какая ситуация, ради всех святых?

— Все мы знаем о вашем происхождении, о будущей должности, и люди — как мужчины, так и женщины, — льстят вам, надеясь, что их слова в будущем достигнут ушей губернатора…

— Боже правый! Мистер Саммерс!

— Погодите, погодите! Поймите меня правильно, мистер Тальбот, я вас вовсе не осуждаю!

— А выглядит почему-то именно так!

Я вскочил было из-за стола, но Саммерс протянул ко мне руку таким просительным жестом, что я снова сел.

— Хорошо, продолжайте, если без этого никак.

— Я завел этот разговор не ради себя.

Некоторое время мы оба молчали. Потом Саммерс сглотнул — с усилием, будто во рту у него действительно была изрядная порция бренди.

— Сэр, вы воспользовались своим происхождением и будущей должностью для того, чтобы добиться невероятного внимания к своей персоне — я не осуждаю, вовсе нет! Кто я такой, чтобы подвергать сомнению традиции общества, если не сказать — законы природы? К чему я веду: вы ощутили все привилегии вашего положения. Я же призываю вас возложить на плечи подобающие им обязанности.

Примерно за… пусть будет за полминуты — ведь что такое время на корабле или, возвращаясь к странному сравнению, которое выходка Колли только усилила, — что такое время в театре? Так вот, примерно за полминуты я пережил невероятное разнообразие чувств — гнев, стыд, злость, изумление и замешательство, которое разозлило меня более всего, учитывая, что до этого разговора я понятия не имел о тяжелом положении мистера Колли.

— Что за дерзость, мистер Саммерс! Что за невероятная дерзость! — Когда перед глазами у меня прояснилось, я увидел, что загорелое лицо лейтенанта страшно побледнело. — Дайте мне прийти в себя. Стюард! Бренди!

Бейтс примчался бегом — видно, голос мой звучал более чем властно. Я не выпил стакан залпом, а сел и уставился в него.

Вся беда была в том, что Саммерс говорил правду!

— Ваш визит, сэр, к попутчику такого рода… — продолжил, наконец, Саммерс.

— Мой визит? Лезть в эту вонючую дыру?

— Отвечу вам словами, которые больше всего подходят к сложившейся ситуации: ноблесс оближ, сэр, положение обязывает.

— Черт бы побрал ваш французский, Саммерс! Хорошо, сделаю, что вы просите. В конце концов, я верю в честную игру!

— Именно это я и надеялся услышать.

— Серьезно? Ах, как великодушно с вашей стороны, сэр!

Мы снова замолчали. В конце концов я, довольно резко, сказал:

— Что ж, мистер Саммерс, не могу не признать, что вы правы. Я не проявил должной чуткости. Однако же человек, который поучает взрослых как провинившихся школьников, не вправе ожидать за это благодарности.

— Боюсь, что так.

Нет, это было уже слишком.

— Неужели, на ваш взгляд, я настолько злобен, мелок и мстителен? Можете не бояться, от меня ваша драгоценная карьера не пострадает! Ни к чему равнять меня с врагом!

В это время в салон вошли Деверель, Брокльбанк, еще кто-то, и разговор перешел на общие темы. Я постарался побыстрей убраться в каюту, захватив с собой стакан, и уселся там, раздумывая, что же теперь делать. Кликнул Виллера и велел ему найти Филлипса. У слуги хватило наглости спросить, зачем мне это понадобилось,

и я в самых доходчивых выражениях объяснил ему, чтобы не лез не в свое дело. Филлипс явился незамедлительно.

— Филлипс, я собираюсь нанести визит мистеру Колли, и не хотел бы страдать от вида и запаха помещения, где лежит больной. Будьте так добры, уберите каюту и, по возможности, койку. Дайте мне знать, когда все будет готово.

Я ожидал протестов, но Филлипс, подумав секунду, вышел. Виллер просунул было голову в дверь, но я все еще злился и потому сказал, что если ему нечего делать, пусть пойдет и поможет с уборкой, после чего он мгновенно испарился. Прошло не менее часа, прежде чем я услышал стук в дверь — Филлипс доложил, что сделал все, что мог. Я вознаградил его и, обуреваемый дурными предчувствиями, пересек коридор. Виллер, однако же, реял неподалеку, будто надеялся получить полгинеи, за то, что вызвал Филлипса ко мне. Ох уж эти слуги — жадны, как священники, дерущие деньги за все подряд: крестины, венчание, похороны! Сопроводив меня до каюты мистера Колли, хитрецы намеревались подежурить у двери, но я велел им проваливать и проследил, чтобы оба действительно убрались прочь. И только тогда вошел.

Каюта Колли оказалась зеркальным отображением моей собственной. Хоть Филлипс и не смог полностью избавиться от зловония, он находчиво опрыскал все кругом каким-то резким и, тем не менее, приятным ароматом. Колли лежал именно так, как описал Саммерс. Одна рука судорожно сжимала то, что и Фальконер, и Саммерс согласно именовали рым-болтом. Нелепая голова вдавилась в подушку лицом вниз. Я в растерянности остановился у койки. Раньше мне никогда не приходилось навещать больных.

— Мистер Колли!

Нет ответа.

Я попробовал еще раз:

— Мистер Колли, сэр! Несколько дней назад я предложил вам познакомиться поближе. Но вы с тех пор так и не появились. Как же так? Могу я надеяться, что сегодня мы вместе прогуляемся по палубе?

По-моему, вполне уместно. Честное слово, я был доволен собой. И так уверился в том, что мне обязательно удастся поднять пастора на ноги, что только воспоминание о скуке, которую навевала на меня его компания, заставило меня несколько отступить.

— Или не сегодня, а когда вы будете в силах.

Подожду вашего приглашения.

Ну разве не глупо? Фактически предложил этому зануде докучать мне, когда ему будет угодно. Я подвинулся поближе к двери и обернулся как раз вовремя, чтобы заметить, как испаряются Виллер и Филлипс. Оглядев каюту, я убедился, что вещей в ней еще меньше, чем у меня. На полке стояли Библия, молитвенники грязный, потрепанный, явно прошедший через множество рук, неловко обернутый в бумагу томик, оказавшийся «Классами растений» Линнея.[28] Остальные книги были религиозными — к примеру, бакстеровский[29] трактат «О вечном покое праведников» и так далее. На откидном столе тоже лежала стопка книг. Я закрыл дверь и двинулся к себе.

Не успел я дойти до своей каюты, как заметил спешащего за мной Саммерса. Очевидно, он следил за моими передвижениями. Я жестом пригласил его внутрь.

— Ну как, мистер Тальбот?

— Я не добился ответа. Тем не менее я навестил Колли, как вы просили, и сделал все, что мог, выполнив, надеюсь, те обязанности, о которых вы

---

[28] Примечания: 28
Линней, Карл (1707–1778 гг.) — шведский натуралист.

[29] Примечания: 29
Бакстер, Ричард (1615–1691 гг.) — известный пуританский богослов.

столь любезно мне напомнили. Больше от меня ничего не зависит.

К моему изумлению, Саммерс поднес к губам стакан бренди. По-видимому, он пронес его по коридору незаметно, просто потому, что никто не ожидал такой ноши в руках столь умеренного человека.

— Саммерс, дорогой мой Саммерс, неужели и вы пристрастились к выпивке?

То, что я был неправ, стало ясно почти сразу же — по тому, как он задохнулся и закашлялся от первого же глотка.

— Вам надо чаще упражняться. Присоединяйтесь к нам с Деверелем!

Саммерс сделал еще глоток и глубоко задышал.

— Мистер Тальбот, вы сказали, что… что сегодня вы не станете на меня сердиться. Разумеется, шутили, однако же, это было слово джентльмена. И вот я обращаюсь к вам вновь.

— Честно говоря, мне уже надоело.

— Заверяю вас, мистер Тальбот — это в последний раз.

Я опустился на парусиновый стул.

— Что ж, говорите, раз пришли.

— Кто в ответе за его состояние?

— Чье, черт побери?! Колли? Он сам! Давайте не

будем ходить вокруг да около, как две набожные барышни! Вы хотите разделить ответственность? Обвините капитана — и тут я с вами соглашусь… кого еще? Камбершама? Девереля? Самого себя? Вахтенных по правому борту? Весь мир?

— Скажу прямо, сэр. Лучшим лекарством для мистера Колли мог бы стать визит Андерсона, перед которым он так трепещет. А единственный, кто обладает на капитана серьезным влиянием — вы, сэр.

— Тогда черт побери еще раз. Нет и нет!

— Вы сказали, что я хочу разделить ответственность. Так позвольте мне сделать именно это. Вы — тот самый человек…

— Господь и его святители. Саммерс…

— Стойте, стойте!

— Вы пьяны?

— Я же предупреждал: говорить стану прямо. И выдержу вашу атаку, сэр, хотя для моего будущего вы куда опаснее французов! Те могут всего-навсего убить или искалечить меня, в то время как вы…

— Нет, вы пьяны, не иначе!

— Разве не вы смело, не задумываясь ни на минуту, осадили капитана, да еще на его законном месте? Не воспользуйся вы своим положением,

связями и видами на будущее, чтобы нанести удар по самым основам его авторитета, все остальное могло бы и не случиться. Андерсон груб, ненавидит духовенство и не делает из этого секрета. Однако поведи вы себя по-другому, он бы не обрушил всю свою злость на Колли и не стал бы унижать его в дальнейшем — просто потому, что не имеет возможности унизить вас.

— Если бы Колли взял себе за труд прочесть капитанские правила…

— Вы такой же пассажир, как и он. Вы их читали?

Несмотря на злость, я попытался вспомнить. Да, наверное, он прав, да что там — конечно, прав! В первый день плавания Виллер пытался что-то такое пробормотать — мол, правила на стене, за дверью, и их по возможности следует…

— Читали, мистер Тальбот?

— Нет.

Не замечали ли вы, ваша светлость, такую странную вещь: оказывается, сидя успокоиться гораздо легче, чем стоя! Не могу сказать, что ярость моя улетучилась, но по крайней мере перестала расти. Словно бы тоже желая успокоиться, Саммерс присел на край койки, глядя на меня несколько сверху вниз. Такое положение делало

неизбежным некоторое поучение в его тоне.

— Капитанские правила показались бы вам, сэр, такими же резкими, как и его характер. Но все дело в том, что пассажирам они необходимы не меньше, чем всем остальным.

— Хорошо-хорошо.

— Вы просто не видели, что творится на корабле в трудную минуту. Он может лечь на воду и затонуть в одно мгновение. И мечущиеся по палубе пассажиры, которые лезут под ноги, не слушают приказов или вопят так, что никто ничего не слышит…

— Вы сказали достаточно.

— Надеюсь.

— Уверены, что я не в ответе за что-нибудь еще? К примеру за выкидыш миссис Ист?

— Если вынудить капитана навестить больного…

— Скажите, Саммерс, почему вы так озабочены судьбой Колли?

Лейтенант допил бренди и поднялся.

— Честная игра, ноблесс оближ. Мое образование отлично от вашего, сэр, оно получено, скорее, на практике. Но я знаю понятие, под которое… как это правильно сказать — подпадают? Подпадают обе эти фразы. Надеюсь, вы тоже его найдете.

С этими словами он быстро вышел из моей каморки и исчез из виду. В душе у меня бушевала целая буря чувств.

Гнев — конечно, смущение — разумеется, но вместе с тем и своего рода мрачное веселье: надо же — два урока в один день, да еще от одного и того же наставника! Я очередной раз проклял Саммерса за занудство, потом подумал и снял половину проклятий; все-таки он — славный малый, невзирая на происхождение. И дались ему мои обязательства!

Что же это за понятие? Нет, интересный он все-таки человек! И перевод неплохой — не хуже ваших! Ах, эти бесчисленные лиги с кормы до носа британского корабля! Вот Саммерс отдает приказы на палубе — а вот мы уже встречаемся с ним за стаканом бренди и я слышу, как морской жаргон с легкостью сменяется привычным мне языком. Теперь, когда я уже чуть-чуть остыл, мне стало понятно, как он рисковал, заводя со мной разговор, и у меня снова вырвался невеселый смешок. Если снова прибегнуть к языку театра — перед нами явный положительный герой!

Что ж, положительных героев, как и детей, разочаровывать не годится. Пока что сделано лишь полдела: я проведал Колли. Теперь пришло

время навести мосты между ним и угрюмым капитаном — поручение, которое, надо признать, меня отнюдь не радовало. Я вернулся в салон, заказал еще бренди и к вечеру был уже не в состоянии что-либо решать. В общем, почти сознательно тянул время, чтобы подальше отодвинуть беседу, обещающую быть на редкость неприятной. В конце концов, твердой, как мне казалось, походкой, я вернулся в койку; помню, как Виллер помогал мне в нее улечься. Накачался я как следует, поэтому тут же провалился в тяжелый сон, из которого вынырнул с головной болью и тошнотой. Посмотрев на часы, я понял, что еще совсем рано. Звучно храпел мистер Брокльбанк. В соседней каюте раздавались звуки, из которых я заключил, что красотка Зенобия развлекается с очередным поклонником или, лучше сказать, клиентом. Неужели и она хотела, чтобы я замолвил за нее словечко перед губернатором? И однажды появится передо мной с его портретом работы мистера Брокльбанка? Такие думы, довольно горькие для раннего утра, несомненно, вызвал разговор с Саммерсом, и я вновь проклял лейтенантскую прямоту. В каюте было душно, так что я накинул шинель, сунул ноги в башмаки и выполз на палубу. Брезжил

рассвет, можно было различить, где море, где небо, а где корабль — но не более. Мысль о том, что я согласился переговорить с капитаном, не вызывала ничего, кроме отвращения. То, что прежде представлялось скучноватым долгом, на трезвую голову оказалось сущим кошмаром. Мне вроде бы говорили, что на рассвете капитан прогуливается по шканцам — время слишком раннее для подобных разговоров.

Тем не менее свежий утренний ветер якобы не очень полезный для здоровья, неожиданным образом прогнал и тошноту, и головную боль, и даже неуверенность перед предстоящей беседой. Я пустился расхаживать взад и вперед между срезом шканцев и грот-мачтой, обдумывая ситуацию. Впереди долгий путь в компании капитана, которого я не люблю, не уважаю и считаю просто-напросто мелким тираном. Попытка помочь презираемому им Колли лишь обострит неприязнь, что прячется за нашим внешним перемирием. Андерсон принял к сведению мое положение — вашего крестного сына и так далее, и так далее. Я принимаю к сведению, что он состоит в должности капитана флота Его Величества. Не знаю, насколько у него хватит сил терпеть выходки пассажиров, так же, как и он не знает,

насколько велико может быть мое влияние на лиц, стоящих выше него. Кружим вокруг друг друга, как два пса в попытке понять, кто сильнее. И вдруг я начну просить за презренного представителя ненавидимой им профессии! Боюсь, после этого придется чувствовать себя обязанным. Мысль на редкость неприятная. Я совсем запутался: то решал, что я дал клятву чести и отступать некуда, то склонялся к мысли, что стоит отказаться от этой затеи.

Хочу заметить, что влажный и мягкий воздух здешних широт, хоть и считается не очень здоровым, послужил прекрасным обезболивающим для тяжелой головы и воспаленного желудка. По мере того как я приходил в себя, мне все больше казалось, что я в силах не только принять верное решение, но и выполнить его. Те, кто стремится достигнуть вершин государственной власти, особенно если их обязывает происхождение, должны уметь лицом к лицу встречаться с трудностями — особенно в таком плавании, как наше! Ведь я ни на минуту не забываю, что щедрость вашей светлости не только подарила мне несколько лет службы в совершенно новом, неразвитом еще обществе, но и дала возможность за время предшествующего службе путешествия отточить

умение размышлять, которое пока оставляет желать лучшего. Так что я решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Что заставит капитана выполнить мою просьбу? Что для него главнее собственных интересов? Особенно интереса к этому жалкому человечишке — мистеру Колли! Нет, сомнений быть не может — Колли все равно будут травить, виноват я в этом или не виноват. Будут, просто потому, что он свалял дурака, пытаясь усидеть на двух стульях.

Деверель, юный Томми Тейлор, да и Саммерс — все они уверены, что капитан Андерсон, неизвестно по какой причине, решил сделать жизнь Колли невыносимой. Беда в том, что единственное понятие, объединяющее «ноблесс оближ» Саммерса и мою «честную игру», — это «справедливость». Слишком объемное и школьное слово торчит, как одинокая скала в океане! В нем, шагнувшем из школы и университета прямо на палубу военного корабля — палубу, где правит тиран! — таится угроза. Угроза моему будущему.

С другой стороны, меня подкупает вера Саммерса в мои возможности и, что еще ценнее, в мою справедливость. Что за создания — люди! Всего несколько недель назад я счел себя неплохим человеком, потому что матушка плакала, провожая

меня, а теперь грею ладони у крохотной свечи лейтенантского одобрения!

Что ж, по крайней мере я придумал, что делать дальше.

(61)

Я вернулся в каюту, где умылся, побрился и оделся с особой тщательностью. Выпил в салоне утреннюю порцию и собрался, словно перед свиданием. Скажу честно, думал я о предстоящей беседе без всякой радости. Да, я добился определенного положения на корабле, но у капитана-то оно безусловно выше! Великий могол — не иначе! Чтобы избавиться от дурных предчувствий, я чуть ли не вприпрыжку преодолел все трапы и выскочил на шканцы. Андерсон стоял против ветра, дующего в корму справа. Это привилегия капитана и происходит она, по словам моряков, от таинственного выражения «Опасность таится с наветренной стороны», хотя, не успеешь моргнуть, как они тут же примутся убеждать тебя, что самая страшная вещь на свете — «подветренный берег». Думаю, первая фраза относится к вражеским кораблям, а вторая — к рифам и другим естественным опасностям. Я, однако, предлагаю свое, более хитроумное объяснение капитанской привилегии. Какую бы часть судна ни обдувал ветер, он уносит с собой зловоние,

которое обволакивает весь корабль. Я не имею в виду запах нечистот или отбросов, я говорю о том неизбывном смраде, которым пропитаны как само дерево нашей старушки, так и балласт из гравия и песка. Возможно, более современные корабли с балластом из железа пахнут приятнее, но на этом Ноевом ковчеге капитан прекратит прогуливаться с подветренной стороны, только когда наступит полный штиль и матросы сядут на весла. Тиран желает дышать как можно более свежим воздухом!

Я вдруг поймал себя на том, что размышляя на эту тему, я бессознательно тяну время, так же, как совсем недавно, в салоне, медлил над утренним стаканом. Нет, пора взять себя в руки и сделать бросок!

Я прошел на другую сторону шканцев, поприветствовав капитана лишь поднятием пальца. Расчет состоял в том, что недавняя веселость и душевный подъем заставят Андерсона заговорить со мной первым. И я не прогадал. Тиран был доволен, о чем говорили оскаленные в улыбке желтые зубы.

— Доброе утро мистер Тальбот!

— И вам того же, сэр. Типична ли наша скорость для здешних широт?

— Скорость средняя, и сомневаюсь, что в ближайшее время мы пойдем быстрее.

— Двадцать четыре морские мили в день.

— Именно так, сэр. Военные корабли в целом не так быстры, как считается.

— Понятно, сэр. Со своей стороны хочу сказать, что эти широты мне более приятны, чем все те, где я бывал ранее. Если бы мы могли отбуксировать сюда Британские острова, сколько бы решилось проблем! Манго сами сыпались бы нам в рот.

— Славно придумано, сэр. Вместе с Ирландией?

— Нет, сэр. Ее я предложу присоединить к Соединенным Штатам.

— И пусть отделяется от них, сколько угодно, а, мистер Тальбот?

— Она бы очень удобно улеглась вдоль Новой Англии. А там — будь что будет!

— У меня бы мигом половина вахтенных сбежала.

— Что ж, стоит того, сэр. Ах, что за благородная картина — океан, освещенный низко стоящим солнцем! Стоит ему подняться повыше, и волны теряют живописный вид, которым мы любуемся на рассвете и на закате.

— Я так привык к здешнему виду, что уже и не замечаю его. Однако я благодарен океану — если можно так сказать — за другую возможность.

— Какую же?

— Тут человек может побыть в одиночестве.

— Тут капитан может побыть в одиночестве, сэр. Остальным в море приходится жить довольно скученно, что не идет им на пользу. Так что Цирцее[30] было скорее на руку, что ее жертвы — моряки. Не пришлось особенно трудиться.

Только произнеся последние слова, я сообразил, насколько язвительно они звучат. По озадаченному выражению капитанского лица я понял, что он пытается припомнить, что же случилось с кораблем под таким названием.

— Скученно?

— Можно сказать, стадно. Нет, но какой же чудный воздух! Признаюсь, для меня невыносима даже мысль о том, чтобы снова спуститься в каюту и засесть за дневник.

Капитан Андерсон запнулся о слово «дневник», словно налетел на камень. Я притворился, что ничего не заметил и продолжал:

— Это частью забава, а частью мой долг. Нечто

---

[30] Примечания: 30

Цирцея (Кирка) — богиня, согласно мифу, обратившая спутников Одиссея в свиней.

вроде того, что вы зовете судовым журналом.

— Вам, наверное, и писать-то не о чем — у нас тут мало что происходит.

— Да что вы, сэр! Ошибаетесь, у меня не хватает ни времени, ни бумаги, чтобы увековечить все интересные события и характеры, заодно с моими собственными наблюдениями. Возьмите, к примеру, мистера Преттимена! Вот персонаж, так персонаж! Уже на весь корабль успел прославиться!

Капитан Андерсон никак не мог взять в толк, о чем это я.

— Персонаж?

— Знаете, — похохатывая, продолжал я, — даже если бы его светлость не дал мне такого поручения, я бы все равно писал — для себя. Всегда мечтал превзойти Гиббона.[31] Так что подарок крестного оказался очень кстати.

Тиран изволил улыбнуться, но как-то неуверенно, как человек, понимающий, что выдернуть зуб не так больно, как оставлять его ныть во рту.

— Вот как, выходит, мы все прославимся. Не ожидал.

— Это на будущее. Понимаете, в чем дело: его

---

[31] Примечания: 31

Гиббон, Эдвард (1737–1794 гг.) — английский историк, автор многотомного труда «История упадка и разрушения Римской империи».

светлость, к несчастью, замучила подагра, и я надеюсь, что во время приступов правдивое и подробное описание моего путешествия и здешних знакомств поможет ему легче переносить страдания.

Капитан Андерсон сделал пару шагов взад-вперед по палубе и снова остановился подле меня.

— В таком случае офицеры судна, на котором вам выпало плыть, должны частенько появляться в ваших записках.

— Разумеется. Для нас, сухопутных, моряки — очень интересный народ.

— Особенно капитан?

— Вы, сэр? Я не думал об этом специально, но… Вы — король или даже император нашего плавучего государства, имеющий право карать и миловать. Да. Полагаю, вам посвящено немало строк в моем дневнике, и так оно останется впредь.

Капитан крутнулся на каблуках и пошел прочь — спиной ко мне, лицом к ветру, набычившись и сцепив руки за спиной. Можно было предположить, что он, по своей привычке, выдвинул нижнюю челюсть, как подпорку для остального нахмуренного лица. Нет сомнений — мои слова подействовали, причем как на него, так и на меня!

Потому что я трепетал не меньше, чем лейтенант Саммерс в разговоре со мной, мистером Эдмундом Тальботом! Не помню, как и о чем я поговорил со стоящим на вахте Камбершамом. Тот был выбит из колеи, потому что мое признание нарушало правила для пассажиров. Краем глаза я видел, как судорожно сжаты за спиной капитанские пальцы — знак, что пора закругляться. Я пожелал лейтенанту удачной вахты и покинул шканцы. В этот раз я был даже рад снова оказаться в своей каморке, где обнаружил, что руки у меня до сих пор трясутся. Я уселся, стараясь восстановить дыхание и унять колотящееся сердце.

Чуть успокоившись, я попытался предугадать дальнейшее поведение капитана. Разве успех политика основывается не на его возможностях влиять на будущее других людей? Разве возможности эти не зависят от умения предсказывать чужое поведение? Вот удобный случай проверить ловкость моих рук. Клюнет ли капитан на наживку, которую я закинул? Намек был отнюдь не тонкий — так ведь и капитан, как я определил по его вопросам, человек прямой до мозга костей. Возможно, он вовсе не понял, к чему я упомянул мистера Преттимена и его крайние взгляды. И все-таки я уверен: рассказ о дневнике

заставит Андерсона воскресить в памяти все, что случилось со дня отплытия, и задуматься, как он будет выглядеть со стороны. Рано или поздно он дойдет до происшествия с Колли и вспомнит, как изводил бедного пастора. И хотя капитан может догадаться, что я его спровоцировал, правда остается правдой — поступил он жестоко и несправедливо.

И как же он поведет себя дальше? Как повел себя я, когда Саммерс взвалил на меня мою порцию ответственности за происходящее? Мысленно я нарисовал себе пару сцен для нашего плавучего театра. Вот, к примеру, Андерсон спускается со шканцев и прогулочным шагом направляется в пассажирский коридор, делая вид, что Колли ему совершенно не интересен. Останавливается и проверяет свои собственные правила, написанные твердой и уверенной рукой. И наконец, дождавшись, пока коридор опустеет… Нет, так не годится, кто-то ведь должен его увидеть, чтобы я смог внести запись в дневник!.. Быстрым шагом проходит по коридору, ныряет в каюту, где лежит Колли, закрывает дверь, садится на койку, и они болтают до тех пор, пока не становятся лучшими друзьями. Не удивлюсь, если Андерсону приходилось беседовать с самим архиепископом, а то и с

королем! Такое знакомство наверняка поднимет Колли с постели. Капитан может признаться, что год-два назад он и сам попал в подобную передрягу — во что я, честно говоря, не верю. Да и вообще все это — сплошная выдумка. Не в характере Андерсона так себя вести. Скорее… скорее, он мог бы немного взбодрить Колли, объяснив, что грубость — всего лишь профессиональная капитанская привычка. Еще вероятней, спустится лишь для того, чтобы своими глазами узреть, как Колли ничком лежит на койке, равнодушный к дружеским приветствиям. А скорее всего и спускаться-то не станет. Кто я такой, чтобы залезать в дебри его души, препарировать ее и по результатам этой хирургической операции объявлять, куда ведет извилистый путь капитанской немилости? Я сидел перед открытым дневником, ругая себя за попытки сыграть в политика и повлиять на этого непростого человека. Приходится признать, что мои познания об истоках человеческих поступков все еще несовершенны. И незаурядный ум им пока плохой помощник. Здесь нужно что-то еще, нужно накопить некий опыт, прежде чем пытаться действовать в таких сложных и запутанных обстоятельствах.

А после, после — наверное, вы уже догада-

лись? Я все — таки спас положение! Андерсон спустился! Прошел у меня на глазах, будто по мановению волшебной палочки! Ну разве я не чародей? По крайней мере помощник чародея! Сказал, что капитан спустится — и он спустился! Через зарешеченное окошко я видел, как Андерсон, мрачный и угрюмый, остановился посреди коридора, осматривая одну каюту задругой. Я едва успел отпрянуть от глазка, испугавшись, что подобный раскаленному углю взгляд испепелит меня на месте. Когда я осмелился выглянуть снова — мне определенно казалось, что если капитан меня заметит, мне не поздоровится! — Андерсон уже отвернулся. Постоял у каюты Колли, глядя на дверь, и я заметил, как одна рука, сжатая в кулак, раздраженно колотит по ладони другой. Затем огляделся по сторонам. Да будь я проклят, если войду! — как бы вопило каждое движение. Андерсон прошагал к трапу и скрылся из глаз. Через несколько секунд по палубе над моей головой простучали его шаги.

Победа, но какая-то несерьезная, как полагаете? Да, я сказал, что капитан спустится — он и спустился. Но не нашел в себе ни доброты, ни вежливости, чтобы, согласно моим мечтам, утешить бедного Колли. Чем сильнее он давит

в себе желчь, тем выше она поднимается. У меня, однако, появилась некоторая уверенность в своих силах. Теперь, когда Андерсон знает о существовании дневника, он не сможет спать спокойно. Как от занозы под ногтем. Наверняка спустится снова…

БЕТА

Ошибка, Тальбот! Затверди еще один урок, мой мальчик! Ты наступаешь на одни и те же грабли. Никогда больше не позволяй себе расслабиться, самонадеянно созерцая результаты первоначального успеха. Капитан Андерсон так больше и не спустился в наш коридор. Он прислал гонца. Я как раз писал про занозу под ногтем, когда в дверь постучали, и на пороге возник не кто иной, как мистер Саммерс! Я пригласил его войти, посыпал песком страницу — не очень аккуратно, как вы могли заметить, — закрыл дневник и запер его в ящик, встал и предложил Саммерсу стул. Тот отказался, уселся на краешек койки, положил рядом треуголку и задумчиво посмотрел на дневник.

— Запираете, значит!

Я ничего не ответил, только с легкой улыбкой посмотрел ему в глаза. Он кивнул, будто бы все понял, и мне показалось — так оно и было.

— Мистер Тальбот, так больше продолжаться не может!

— Вы имеете в виду мои записи?

Он только отмахнулся.

— Я заглядывал к нему по приказу капитана.

— К пастору? Я и сам к нему заходил. Помните? Мы ведь с вами договорились.

— Он на грани помешательства.

— И все из-за того, что хватил лишку?! Неужто никаких изменений?

— Филлипс клянется, что Колли за три дня ни разу не шевельнулся.

В ответ я выругался — боюсь, чересчур энергично. Впрочем, Саммерс не обратил на это внимания.

— Повторяю: он вот-вот сойдет с ума.

— Похоже, вы правы.

— Я делаю все, что могу, и вы должны мне помочь.

— Я?

— Да. Разумеется, приказывать вам Андерсон не имеет права, но он велел попросить у вас помощи и следовать вашим советам.

— Надо же! Нет, капитан мне льстит! Знаете, Саммерс, я сам подумывал о том, чтобы попрактиковаться в искусстве дипломатии, но не ожидал обнаружить себя в качестве ее объекта.

— Андерсон считает, что вы — человек опытный и осведомленный, и на ваши советы можно положиться.

Я от души рассмеялся; лейтенант последовал моему примеру.

— Бросьте, Саммерс! Не мог он так выразиться!

— Ну не совсем так…

— Скорее, совсем не так! Знаете…

Я вовремя осекся. Мне было что сказать. К примеру, что внезапная забота капитана Андерсона вызвана вовсе не моей просьбой, а тем, что он узнал о существовании дневника, который будет читать ваше высокопоставленное око. Или что капитану скорее всего нет никакого дела до возможного помешательства Колли, зато он очень хитроумно пытается втянуть в эту историю меня, чтобы напустить побольше тумана и смягчить неприязнь и презрение, которое вы, ваша светлость, скорее всего к нему испытаете. Но я же учусь, не правда ли? До того как слова успели слететь с языка, я осознал, какую опасность они могут представлять и для Саммерса, и для меня.

— Что ж, мистер Саммерс, сделаю все, что смогу.

— Я знал, что вы согласитесь. Считайте, что мы, просмоленные невежи, привлекли вас как представителя гражданского населения. Что будем делать?

— Итак, у нас есть пастор, который… слушайте,

а не позвать ли нам еще и мисс Грэнхем? Она дочь каноника и должна разбираться в священниках лучше всех!

— Бросьте ваши шутки, сэр, и оставьте мисс Грэнхем мистеру Преттимену.

— Нет! Быть не может! Ужели сама Минерва?..[32]

— Наше внимание было слишком занято мистером Колли.

— Что ж, как уже было сказано, у нас есть пастор, который… допился до скотского состояния и теперь отчаянно страдает по этому поводу.

Саммерс внимательно и, я бы даже сказал, с любопытством посмотрел на меня.

— И вы знаете, до какого состояния он допился?

— А как же! Я ведь его видел! Да не только я — все, даже дамы. Однако признаюсь вам, Саммерс, я видел чуть больше, чем все остальные.

— Очень интересно.

— Ненамного больше — но все-таки. Через некоторое время после своего нашумевшего выступления Колли проковылял по коридору в гальюн с листком в руках и, что самое интерес-

---

[32] Примечания: 32
Минерва (Афина Паллада) — богиня мудрости.

ное, с широченной улыбкой на том, что у него вместо лица.

— И о чем поведала вам эта улыбка?

— О том, что он вдребезги пьян.

— А о том, что случилось там, в кубрике? — Саммерс кивнул куда-то в сторону носа.

— Нет. Как тут узнаешь?

— Можно порасспрашивать.

— Стоит ли? Разве весь этот простонародный — уж простите меня! — театр рассчитан не на нас — тех, кто стоит на ступеньку выше? Может быть, не надо лишний раз дразнить гусей?

— А здоровье Колли? Ради него стоит рискнуть. Кто-то ведь довел беднягу до такого состояния. Кроме того, помимо матросов есть и переселенцы — очень приличные люди. Эти не будут насмехаться над вышестоящими, а вот знать могут не меньше прочих.

Мне вдруг вспомнилось изнуренное лицо молоденькой миссис Ист, которое словно сжирали черные тени. Возможно, она воочию наблюдала скотское поведение Колли, в то время как ожидала от священника совсем другого.

— И все-таки, Саммерс, это ужасно! Пастор, должно быть…

— Сделанного не воротишь. А сейчас ему само-

му хуже некуда. Ради Бога, попробуйте еще раз пробудить его от этой… летаргии!

— Хорошо. Пробовать — так пробовать. Идемте.

Я буквально выскочил в коридор, пересек его, сопровождаемый по пятам Саммерсом, и открыл дверь каюты Колли. Лейтенант не соврал. Пастор все так же лежал ничком и казался еще более застывшим, чем в прошлый раз. Рука, вцепившаяся в рым-болт, будто бы расслабилась и повисла на нем без всякого видимого усилия.

— Мистер Колли, вас пришел навестить мистер Тальбот, — мягко проговорил Саммерс у меня за спиной.

Меня охватили неловкость и сильнейшее отвращение, отчего я растерялся сильнее обычного и не смог подобрать ни единого слова, чтобы подбодрить несчастного. Его вид и запах, вернее даже сказать — вонь, исходившая, как я определил, от немытого тела, не вызывали ничего, кроме дурноты. Представьте, какой силы должен быть смрад, чтобы соперничать с общим зловонием корабля (к которому я так и не смог до конца привыкнуть) или даже перебить его! Саммерс, однако, верил в мои несуществующие силы, так как, кивнув, отошел в сторону, словно показывая,

что все теперь в моих руках.

Я откашлялся.

— Мистер Колли! Положение, что и говорить, неприятное, но поверьте, сэр, вы принимаете все слишком уж близко к сердцу. Каждый может, если не сказать — должен, хоть раз в жизни нечаянно перепить, иначе как же он поймет переживания другого? Что касается вашего развеселого выступления на палубе — да чего она только не видала, эта палуба! Это вам не тихое графство нашего с вами отечества… Мистер Колли, лейтенант Саммерс помог мне увидеть, что я в какой-то мере несу ответственность за случившуюся с вами неприятность. Если бы я не рассердил капитана… кстати! Должен признаться, что както раз несколько юных шалопаев, притаившись у окон на верхнем этаже, по сигналу начали мочиться на всеми нелюбимого учителя, когда тот проходил по двору. И чем же, спросите вы, дело кончилось? Да ничем! Учитель нахмурился, выставил вверх ладонь, посмотрел на пасмурное небо и раскрыл зонт! И клянусь вам, сэр, некоторые из этих шалопаев в свое время станут епископами! Через пару дней мы вместе посмеемся над вашим уморительным выступлением. Вы направляетесь в Сиднейскую бухту и оттуда,

насколько я помню, в Землю Ван-Димена. Боже мой, мистер Колли, насколько я знаю, там гораздо охотнее примут вас пьяным, чем трезвым. Что вам нужно сейчас, так это глоток чего-нибудь покрепче, а потом столько эля, сколько сможет вместить желудок — и очень скоро вы взглянете на мир совсем по-другому.

Я не дождался ответа и вопросительно поглядел на Саммерса, но тот, сжав губы, рассматривал одеяло. Я развел руками, показывая, что больше ничего не могу сделать, и вышел. Лейтенант последовал за мной.

— Ну что?

— Мистер Колли решил уморить себя до смерти.

— Бросьте!

— Я слыхал, что такое случается среди дикарей. Они способны просто лечь и умереть.

Я жестом пригласил его к себе и мы бок о бок уселись на койку. Меня осенило:

— А если он фанатик? И слишком близко к сердцу принимает все, что связано с религией… Мистер Саммерс! Тут нет ничего забавного! Или вы столь невоспитанны, что будете хохотать над каждым моим словом?

Саммерс отнял ладони от смеющегося лица.

— Упаси Бог, сэр! Мы и так постоянно рискуем получить пулю от врага, так к чему добавлять к этому опасность стать мишенью друга — осмелюсь назвать вас именно так. Поверьте, я полностью осознаю, какую привилегию я получил в виде возможности близко общаться с многоуважаемым крестным сыном вашего многоуважаемого крестного отца. Но в одном вы правы. Во всем, что касается Колли, нам не до смеха. Или он сошел с ума, или совсем не разбирается в собственной религии.

— Он же священник!

— Вовсе не одежда делает пастора пастором. Сдается мне, Колли впал в отчаяние. И возьму на себя смелость утверждать как христианин — а я считаю себя смиренным прихожанином, как бы далеко меня ни забросила судьба, — что истинно верующий человек не имеет права отчаиваться.

— Если вы правы, то все мои слова для него — пустой звук.

— Вы сказали то, что думали. В любом случае Колли ваших слов уже не услышит.

— Вы так считаете?

— А вы нет?

Мне подумалось, что к Колли мог бы найти подход человек, равный ему по происхождению, ска-

жем, из здешних матросов, но не испорченный, в отличие от пастора, излишним образованием или должностью, пусть и достаточно скромной. Однако недавний разговор с Саммерсом показал мне, сколь осторожно надо беседовать с ним на подобные темы. И тут он прервал молчание:

— У нас нет ни доктора, ни священника.

— Брокльбанк хвастал, что чуть ли не целый год проучился на медика.

— В самом деле? Может, пригласить его к больному?

— Упаси Господи, он же страшный болтун! Знаете, как он описывал свой переход из врачей в художники? «Я оставил Эскулапа ради Музы!»

— И все-таки я поспрашиваю.

— Насчет доктора?

— Насчет того, что случилось с Колли.

— Так мы же все видели!

— Я имею в виду в кубрике, а не на палубе.

— Он надрался, как свинья.

Саммерс внимательно посмотрел на меня.

— И все?

— Все…

— Понятно. Что ж, пойду доложу капитану.

— Передайте ему, что я изо всех сил стараюсь придумать способ вернуть несчастного пассажи-

ра в чувство.

— Обязательно. Со своей стороны благодарю вас за помощь.

Саммерс вышел, оставив меня наедине с мыслями и дневником. Странно все же, что молодой человек, немногим старше меня или Девереля, и, уж конечно, гораздо моложе Камбершама, обладает такой склонностью к саморазрушению. Аристотель Аристотелем, но полчаса наедине с красоткой Брокльбанк… вон, даже Преттимен и мисс Грэнхем… Кстати, вот ситуация, к которой мне придется привыкнуть по ряду причин, последняя из которых — развлечение, а еще… Как вам кажется, о чем я подумал? О стопке бумаг, лежавших на откидном столе Колли! Я даже не смотрел на них, когда мы с Саммерсом туда заходили, но теперь, благодаря удивительным возможностям человеческого сознания, словно бы еще раз заглянул в каюту и, окинув мысленным взором помещение, которое только что оставил, увидел, что на столе пусто. Вот загадка для истинного ученого: как можно вспомнить то, чего вроде бы не и видал? Однако же…

Итак, капитан Андерсон призвал меня в сообщники. Что ж, очень скоро он поймет, что заполучил первоклассного надзирателя!

Я бросился в каюту Колли. Тот все так же лежал пластом. Я поймал себя на мысли, что, лишь оказавшись внутри, перевел дух и немного успокоился. Я желал пастору только добра и действовал по поручению капитана, но все равно чувствовал какой-то трепет. Видимо, все дело в капитанских правилах. Мелкий тиран считает преступлением любую попытку обойти его приказы, а ведь я, как ни крути, пытаюсь добиться, чтобы Андерсон поплатился за плохое отношение к Колли. Я торопливо оглядел каюту. Чернила, перья и песок по-прежнему стояли на месте, никуда не делись и книги с полки в ногах постели. Почему же они не помогли хозяину остаться в здравом рассудке! С этой мыслью я склонился над лежащим.

И не столько увидел, сколько ощутил… То есть понял — хотя не знал, как именно, — что в какой-то момент Колли очнулся, испытывая телесную боль, чтобы тут же впасть в забытье от боли душевной. И теперь лежит, все глубже и глубже погружаясь в эту боль, в дурноту и жуткие воспоминания, всем существом стремясь улететь как можно дальше от этого мира — в смерть. Неудивительно, что ни Филлипс, ни Саммерс не смогли поднять его. Только я, только те слова, что я сказал ему, тронули что-то в душе

пастора. Когда я покинул его — в тот, первый визит, — довольный, что пора уходить, он вскочил с койки в новом приступе агонии и в припадке самоуничижения смел бумаги со стола. А потом, словно неразумное дитя, схватил их и засунул в первую попавшуюся щель, точно они могли бы пролежать там в полной сохранности до Судного дня! Ну конечно — между койкой и стеной судна, так же, как и в моей каюте, оставалось свободное место, куда легко пролезала ладонь — к примеру, моя. Пальцы наткнулись на смятые листки, и я вытащил их — исписанные вдоль и поперек не чем иным, как доказательствами вины капитана, в этом я не сомневался! Я торопливо сунул их за пазуху, вышел в коридор — слава Богу, опять никого! — и нырнул к себе в каюту. Там я засунул стопу бумаги в свой бювар и запер ее, точно вор, прячущий награбленное! А потом сел и принялся описывать все случившееся в дневнике, будто пытаясь найти успокоение в привычном занятии. Не правда ли, забавно?

Тут в каюту вошел Виллер.

— Сэр, мне велено передать вам, сэр. Капитан надеется, что вы сделаете одолжение и через час прибудете к нему на ужин.

— Передайте капитану мою благодарность и

скажите, что я обязательно буду.

ГАММА

Ну и денек сегодня… Еще утром я был полон бодрости, тогда как сейчас… Но вам, вероятно, захочется узнать все, с самого начала. Прошло ужасно много времени с тех пор, как происшествие с Колли казалось покрытым туманной дымкой, и я пытался разогнать ее — самоуверенно, даже самодовольно… Саммерс не зря считает, что в случившемся есть и моя вина. Что ж, так или иначе, виноваты все, но более всех — наш узурпатор! Позвольте же мне провести вас тем же путем, что прошел я, милорд, шаг за шагом, с целью не столько развлечь вас, сколько вызвать справедливое негодование и представить все случившееся на ваш суд.

Не успел я переодеться и отпустить Виллера, как его место тут же занял Саммерс, выглядевший невероятно элегантно.

— Господи, Саммерс, неужто вы входите в число приглашенных?

— Да, представьте, удостоился чести.

— Наверное, редкий случай.

— Как сказать. Олдмедоу приглашали четыре

раза.

Я вытащил часы.

— Еще десять минут. Что предписывает на этот счет корабельный этикет?

— Если приглашение исходит от капитана, то явиться положено с последним ударом склянок.

— В таком случае я разочарую его, придя пораньше. Хотя, учитывая наши отношения, подозреваю, что он предпочел бы увидеть меня как можно позже.

Визит мой к капитану Андерсону был обставлен с церемонностью, достойной адмирала. Каюта напоминала кабинет — не такой большой, как салон для пассажиров или офицерский салон, — казавшийся, однако, королевской резиденцией по сравнению с нашими убогими чуланами. Владения капитана растянулись во всю ширь корабля, отдельные отсеки вдоль бортов представляли собой спальню, гардеробную, личный гальюн и еще один, маленький, кабинет, из которого, наверное, мог бы командовать флотом какой-нибудь адмирал. Как и в салонах — офицерском и пассажирском, — в задней стене (или, как выразился бы моряк, в кормовой переборке) красовалось одно-единственное широкое окно в свинцовой окантовке, через которую было видно

не меньше трети всего горизонта. Часть его была заслонена — с первого взгляда я даже не понял чем. Еще часть закрывал сам капитан, который, едва я вошел, воскликнул самым, если можно так выразиться, праздничным голосом:

— Входите, входите, мистер Тальбот! Простите, что не встретил вас на пороге — как видите, тружусь в саду!

Так оно и было. Огромное стекло загораживала целая плантация вьющихся растений, каждое из которых змеилось вокруг бамбуковой подпорки, торчащей из цветочного горшка, что стояли на полу под окном. Подавшись чуть в сторону, я разглядел, что Андерсон поливает каждое растение из маленькой лейки с длинным носиком — изящной безделушки, подходящей, скорее, барышне для ухода за каким — нибудь хрупким причудливым цветком, — отнюдь не за деревьями в кадках. Казалось бы, мрачный капитан должен был неловко чувствовать себя в подобной обстановке, однако, обернувшись, он поглядел на меня так ласково, словно я был дамой, заглянувшей к нему на чай.

— Я и не знал, что у вас тут свой личный Эдем, капитан.

Капитан улыбнулся! Честное слово — улыб-

нулся!

— Можете считать, мистер Тальбот, что ветвь, за которой я ухаживаю, все еще невинная и цветущая — та самая, коей украсила себя Ева тут же после сотворения.

— Не прообраз ли это потери невинности, капитан? Не предтеча ли фигового листка?

— Быть может, быть может. До чего же вы затейливо выражаетесь, мистер Тальбот.

— Я думал, мы говорим иносказательно, разве нет?

— Что до меня — я говорил серьезно. Слышал, что в древности люди делали из таких венки. А когда он расцветет, будет очень душистым и белым — восковой белизны.

— Тогда мы можем возложить на себя венки перед пиршеством, как древние греки.

— Сомневаюсь, что подобный обычай пойдет англичанам. Однако видите вы, что у меня целых три дерева? Два из них я вырастил из семян!

— Сколько гордости в вашем голосе! Это действительно так трудно?

Капитан Андерсон довольно хохотнул. По лицу его разбежались морщинки, глаза сияли, подбородок вздернулся вверх.

— Сэр Джозеф Банкс[33] считал, что это невозможно! «Андерсон! — говорил он. — Ищите черенки, дружище! А семена можете сразу выкинуть за борт!» Но я не сдавался и в конце концов вырастил целый ящик — саженцев, я имею в виду, — хватило бы для того, чтобы снабдить всех гостей на приеме у лорд-мэра, если они, как вы изволили выразиться, захотят украсить себя венками. Однако о чем это мы? Такое даже представить-то трудно. Какие еще венки в парадном зале Гринвича! Садитесь, мистер Тальбот. Что будете пить, сэр? Тут есть из чего выбрать. Сам я разве что пригублю — не любитель, знаете ли.

— Пожалуй, вина.

— Хоукинс, красного! А вот у герани, мистер Тальбот, листья привяли. Присыпал ее порошком серы — не помогает. Должно быть, погибнет. Что ж, разводишь сад в открытом море — будь готов к утратам. Когда я впервые плавал капитаном, потерял все, до единой веточки.

— В жестоких боях?

— Нет, из-за погоды, сэр, — неделями не могли дождаться ни ветра, ни дождя. Нечем было поливать. У нас тогда еще и бунт случился. Так что

---

[33] Примечания: 33
Банкс, Джозеф (1743–1820 гг.) — английский натуралист, ботаник.

одна герань — это еще ничего.

— Тем более в Сиднейской бухте вы сможете приобрести новую.

— На что…

Он отвернулся, поливая очередной цветок у самых корней, а когда снова посмотрел на меня, в глазах вновь плясали искры, а по щекам разбежались морщинки.

— До места назначения и далеко, и долго, мистер Тальбот.

— Вы так говорите, будто прибытие не доставит вам ни малейшего удовольствия.

Искры и морщинки тут же исчезли.

— Вы еще молоды, сэр. И не понимаете, каким удовольствием — нет, какой необходимостью! — может быть одиночество. Уединение. Я бы не возражал, если бы наше плавание длилось вечно.

— Но ведь каждый человек к чему-то тяготеет — к стране, к обществу, к семье, наконец.

— К семье? К семье? — с ноткой нарастающей ярости переспросил капитан. — А что в ней такого, осмелюсь спросить, в этой семье? Разве без нее плохо?

— Человек — не дерево. Он не может просто уронить семя в землю.

Наступила долгая пауза. Хоукинс, слуга капитана, принес нам вина, Андерсон немедленно влил в себя не меньше половины стакана.

— По крайней мере я могу радоваться мыслям о необыкновенных растениях, что ждут нас впереди.

— Конечно. Как раз и пополните свою коллекцию.

Лицо капитана снова прояснилось.

— Да уж, в Европе и не видывали тех чудес, что там растут.

Что ж, запомним — вот он, путь если не к сердцу капитана, так по крайней мере к хорошим с ним отношениям. Мне вдруг подумалось, что, когда Андерсон с хмурым или даже злобным лицом выходит из своего райского сада, он напоминает изгнанного Адама. Пока я размышлял над этой забавной мыслью, явились Саммерс и Олдмедоу.

— Входите, входите, господа, — проревел капитан. — Что вам налить, мистер Олдмедоу? Мистер Тальбот, как видите, предпочел вино — присоединитесь?

Олдмедоу кашлянул в воротник и провозгласил, что не отказался бы от капельки сухого хереса. Хоукинс принес объемистый графин и налил сперва Саммерсу — будто точно знал, что

тот будет пить, — и лишь потом Олдмедоу.

— Да, Саммерс, пока я не забыл, — сказал капитан. — Как там ваш больной?

— Увы, сэр, без изменений. Мистер Тальбот был так добр, что откликнулся на вашу просьбу. Но его слова не возымели никакого действия, равно как и мои.

— Грустно, грустно, — промолвил Андерсон, глядя мне в глаза. — Я занесу в судовой журнал, что пострадавшего — полагаю, именно так должно именовать этого пассажира, — навестили вы, мистер Саммерс, и вы, мистер Тальбот.

Только теперь я начал понимать, зачем капитан Андерсон пригласил нас к себе в каюту, как неуклюже пытается он разрешить недоразумение с Колли. Вместо того чтобы подождать, пока все размякнут от вина и приятной беседы, он сразу же схватил быка за рога. Что ж, будем защищаться.

— Вы должны понимать, сэр, — начал я, — что, если мы считаем мистера Колли пострадавшим, от моей помощи нет никакого толку. У меня нет ни малейших познаний в медицине. Может быть, стоит позвать мистера Брокльбанка?

— Брокльбанка? Какого еще Брокльбанка?

— Художника, с лицом цвета портвейна и ста-

ей женщин вокруг. Да нет, разумеется, я шучу. Просто он как-то обмолвился, что пытался было изучать медицину, да бросил.

— Значит, хоть какой-то опыт у него имеется?

— Нет-нет! Я шутил! Он… как бы это выразиться, Саммерс? Боюсь, он и пульс прощупать не сумеет.

— И тем не менее… Брокльбанк, вы сказали? Хоукинс, найдите мистера Брокльбанка и попросите его зайти ко мне, да побыстрее.

Я словно бы воочию увидел план, созревший в голове капитана: запись в судовом журнале о визите медика — что может быть лучше! Может, Андерсон и груб, но в хитрости ему не откажешь. Лавирует, по выражению Девереля, ловко. Обратите внимание, как он подводит меня к тому, чтобы я написал вашей светлости про неустанную заботу о пострадавшем — капитан, мол, послал к нему сперва офицеров, затем меня, а следом и пассажира, обладающего кое-какими познаниями в медицине.

Все замолчали и уставились в стаканы, будто загрустив при упоминании о больном. Через две минуты вернулся Хоукинс и доложил, что мистер Брокльбанк будет счастлив заглянуть к капитану.

— Тогда позволю себе пригласить вас к столу, — решил капитан. — Мистер Тальбот по правую руку… мистер Олдмедоу, прошу вас, сюда, сэр! Саммерс, а вы напротив. У нас все просто, по-семейному. Надеюсь, вам не тесно, джентльмены? Саммерсу, вижу, места достаточно. Но мы должны позволить ему эту маленькую привилегию, на случай, если десятки тысяч разных корабельных дел позовут его прочь от нашей теплой компании.

Олдмедоу воздал хвалу супу.

Саммерс, который подчищал свою тарелку с ловкостью, приобретенной в десятках моряцких кубриков, отметил, что про моряцкую еду ходит масса нелепых легенд.

— Разумеется, когда продукты в количестве десятков тонн надо заказать, упаковать, погрузить, и только потом приготовить и подать на стол, обойтись без некоторых нареканий невозможно. Но, в общем и целом, в море британские матросы в море питаются лучше, чем на берегу.

— Браво! — отозвался я. — Вам бы в правительстве заседать!

— Пью ваше здоровье, Саммерс, — провозгласил капитан. — Как там говорится — вздрогнули? Ваше здоровье, джентльмены! Кстати, о легендах,

Саммерс, что вы скажете об истории про сыр на грот-мачте? А о табакерках, вырезанных из говядины?

Краем глаза я заметил, как капитан лишь потянул носом, оценивая букет вина, и отставил стакан. Я решил поддакнуть ему:

— Да, Саммерс, я бы тоже не отказался услышать ответы на вопросы капитана. Что там насчет табакерок и мачты из сыра?

— Сыра на мачте…

— И правда ли, что нашим славным морякам подают чуть ли не голые кости с иссохшими волокнами мяса?

— Надеюсь, сыр вы отведаете сами, равно как и кости, которыми, насколько я знаю, вот-вот удивит вас капитан, — улыбнулся Саммерс.

— Да уж удивлю, — не стал спорить Андерсон. — Подавайте, Хоукинс.

— Боже милосердный! — возопил я. — Мозговые косточки!

— Бесси, я полагаю, — заметил Олдмедоу. — Неплохо мы ее откормили.

Я поклонился.

— Мы потрясены, сэр. Пиры Лукулла бледнеют перед вашим ужином.

— Изо всех сил стараюсь снабдить вас материа-

лами для дневника, мистер Тальбот.

— Даю слово, сэр, что увековечу сегодняшнее меню, вкупе с воспоминаниями о невероятном гостеприимстве капитана, для самых отдаленных потомков.

— Тот господин — он за дверью, сэр, — наклонился к капитану Хоукинс.

— Брокльбанк? Простите, джентльмены, я на минуту отойду в кабинет.

И тут перед нами развернулась настоящая комическая сцена. Брокльбанк не стал ждать за дверью, а вихрем ворвался внутрь. Толи он принял вызов капитана за приглашение к столу, вроде того, что получил я, то ли был под хмельком, а скорее всего — и то, и другое. Саммерс отодвинул стул и поднялся, Брокльбанк кивнул ему, будто лакею, и буквально упал на его место.

— Спасибо, спасибо, спасибо! Мозговые косточки? Черт побери, как вы узнали, сэр? Не иначе кто-то из моих девчонок проболтался. Позор французам! — гудел он голосом густым и тягучим, как спелый плод, что сочетал бы в себе свойства персика и сливы, если бы существовал на самом деле.

Брокльбанк одним махом опрокинул стакан Саммерса. Сунул мизинец в ухо, поковырял,

вытащил, исследовал результат. Окружающие потрясенно молчали. Слуга совершенно растерялся. Брокльбанк наконец-то узнал лейтенанта и радостно ему закивал:

— А, и вы тут, Саммерс? Присаживайтесь, дружище!

— Да, Саммерс, берите вон тот стул и присоединяйтесь, — с редкой для него тактичностью поддержал капитан Андерсон.

Саммерс пристроился на углу стола. Дышал он часто, словно после быстрого бега. Наверное, в голове у него бродили те же мысли, что и у Деверела, который однажды доверительно сказал мне в приступе пьяного откровения: «Нет, Тальбот, не будет этому кораблю удачи».

— Тут зашла речь о дневнике, — обратился ко мне Олдмедоу. — Сколько же вам, должностным лицам, приходится писать!

— Вы несколько забежали вперед, я пока не вступил в должность, но в одном правы: кабинеты чиновников просто завалены бумагами!

Капитан сделал вид, что отпил вина, и отставил стакан в сторону.

— У нас то же самое — пишем и пишем, можно судно бумагой набивать вместо балласта. У всякого свой журнал — от вахтенного до судового,

который веду я самолично.

— Что до меня, так едва я успеваю записать события дня, как на меня наваливается второй, а там и третий.

— Приходится выбирать?

— Да. Самые яркие случаи — те, что могут повеселить заскучавшего крестного.

— Надеюсь, — с нажимом произнес капитан, — вы отметите в дневнике, как мы признательны ему за возможность наслаждаться вашим обществом.

— Разумеется.

Хоукинс наполнил стакан Брокльбанка. В третий раз.

— Мистер… э-э-э… Брокльбанк, — обратился к художнику капитан. — Можем ли мы рассчитывать на ваш врачебный опыт?

— Какой-какой?!

— Тальбот… мистер Тальбот — вот он, — пытаясь сдержать раздражение, начал капитан, — мистер Тальбот…

— А что с ним, черт побери, случилось? Уверяю вас, Зенобия, мое милое, доброе дитя…

— Дело не во мне, — торопливо перебил я. — Капитан имеет в виду Колли.

— Пастора? Господи, да мне до них дела нет в

любое время года! Пусть что хотят, то и творят, всегда говорю я. И тут, на корабле говорил. Или не говорил?..

Мистер Брокльбанк икнул. Тонкая струйка вина потекла по подбородку. Глаза поплыли.

— Врачебный опыт, — терпеливо повторил капитан. В голосе его уже рокотали предвестники грозы, однако он сдерживался изо всех сил. — У нас его нет, и я решил, что вы…

— Так и у меня нет. Гарсон, еще вина!

— А мистер Тальбот сказал…

— Нет, я приглядывался к этому ремеслу, но сказал себе: Вилмот, вся эта анатомия, сказал я, она не для тебя. Нет-нет, кишка у тебя тонка. И тут же оставил Эскулапа ради Музы. Разве я не говорил вам этого, мистер Тальбот?

— Говорили, сэр, причем не единожды. Полагаю, капитан примет ваши объяснения.

— Нет-нет, — с видимым раздражением произнес Андерсон. — Как бы ни был мал опыт мистера Брокльбанка, мы постараемся извлечь из него хоть какую-то пользу.

— Польза! — провозгласил Брокльбанк. — Да в Музе больше пользы, чем в любых других занятиях! Я наверняка разбогател бы, если б не врожденная склонность к прекрасному полу и

прочим излишествам, что так щедро подкидывает мне вконец развратившееся английское общество…

— Никогда бы не полез в медицину, — заявил Олдмедоу. — Все эти трупы, Бог мой!

— Вот и я так решил. Пусть мысли о смерти остаются на расстоянии вытянутой руки. Знаете ли вы, что я первый поспел на место боя сразу после смерти лорда Нельсона, чтобы набросать сцену его гибели для литографии.

— Не может быть!

— Сидел на расстоянии вытянутой руки, сэр. Больше художников рядом не было. Могу заверить — в тот момент мне казалось, что Нельсон испустит дух прямо на палубе.

— Брокльбанк! — вскричал я. — Да ведь я ее видел! Копия литографии висела в «Псе и пистолете». Скажите мне — ну как целая толпа коленопреклоненных офицеров могла собраться вокруг Нельсона в самый горячий миг битвы?!

По подбородку Брокльбанка потекла очередная струйка.

— Вы путаете жизнь и искусство, сэр.

— Глупости какие.

— Зато хорошо продается, мистер Тальбот. Не стану скрывать — если бы не популярность этой

литографии, быть бы мне без гроша в кармане. По крайней мере она дала мне возможность совершить путешествие в… в… в общем, туда, куда мы плывем — название из головы выскочило. А кроме того, вообразите: на самом деле Нельсон умер где-то на вонючей нижней палубе, в одиночку, и провожал его разве что свет фонаря. Ну кто взялся бы за такую картину?!

— Быть может, Рембрандт?

— Ах, Рембрандт. Ну да, конечно. По крайней мере, мистер Тальбот, вы не можете не отметить, как искусно я обхожусь с дымом.

— О чем вы, сэр?

— О дыме! Это ведь сущее наказание. Видели, что творилось, когда Саммерс пальнул из моего ружья? Во время битвы корабли окутаны дымом, не хуже, чем Лондон — туманом! И только настоящий художник знает, как отодвинуть его туда, где он не будет лезть… лезть…

— Вперед, как невежа на представлении.

— Лезть…

— И всем все загораживать.

— Лезть… Да вы совсем не пьете, капитан!

Андерсон очередной раз поднес стакан ко рту и с тоскливой злобой обвел глазами гостей. Брокльбанк, опершись локтями на стол по обе стороны

мозговой кости, гудел, обращаясь к Саммерсу:

— Я настаиваю, что правильно написанный дым может из помехи сделаться подспорьем. К примеру, приходит к вам капитан, которому както раз крупно посчастливилось — он наткнулся в открытом море на врага и сумел выйти из схватки живым и невредимым. Является он ко мне, увидев ту самую литографию, и рассказывает, что был с ним, к примеру, еще один фрегат и небольшой шлюп — налетели на них французы, и вышла настоящая битва… Прошу прощения! Как говорится в эпитафии: «Не бойся смешным прослыть, коли надо ветры пустить; если бы я свои не держал, тут бы сейчас не лежал». А теперь смекните-ка, что будет, если… Скажем, мой друг Фюссли[34] и его «Щит Ахиллеса», и… В общем, смекните.

В раздражении, я глотнул вина и повернулся к капитану:

— Что ж, сэр, судя по всему, мистер Брокльбанк…

Художник все жужжал, не обращая на меня ни малейшего внимания:

---

[34] Примечания: 34

Фюссли, Иоганн Генрих (1741–1825 гг.), известный так же, как Генри Фюзели — швейцарский и английский живописец, график, историк и теоретик искусства.

— Смекните: кто из них мне заплатит? Если все — то и видно на литографии будет всех, и никакого вам дыма! А ведь каждый еще желает, чтобы его нарисовали в самой гуще схватки, дьявол их побери!

— Мистер Брокльбанк, — попытался воззвать к нему капитан. — Мистер Брокльбанк…

— Покажите мне хоть одного капитана, которого произвели бы в рыцари! Я и возражать не стану!

— И я, — каркнул Олдмедоу куда-то себе в воротник.

— Вы спорить со мной хотите? Потому что, если да, то я…

— Я, сэр? Да никогда в жизни!

— И вот приходит он и говорит: «Брокльбанк, — говорит, — сам бы я на эту ерунду и двух пенсов не потратил, но старушка-мама, жена и пятнадцать детишек желают видеть меня на картинке героем». Уловили, да? Вручает мне выпуск газеты с описанием происшествия, в деталях описывает битву и удаляется, счастливый, думая, что знает, как рисовать морское сражение!

В этот раз капитан осушил стакан залпом и ответил Брокльбанку голосом, который сдул бы Томми Тейлора с одного конца корабля на другой,

ежели не дальше:

— Я, со своей стороны, сделал бы то же самое.

Мистер Брокльбанк хотел было приложить палец к носу, дабы подчеркнуть свою смекалку, да промахнулся.

— А зря, сэр. Если бы я гнался за правдоподобием, дело другое. А так, клиент, который оставил мне задаток, потому что мало ли что — возьмет да и сложит где-нибудь голову в бою…

— Меня зовут, сэр, — поднялся со своего места Саммерс.

— А вы счастливчик, мистер Саммерс! — Капитан расхохотался в голос — чуть ли не впервые на моей памяти.

Брокльбанк ничего не заметил. Уверен, покинь мы капитанскую каюту все, один за другим, он продолжал бы монолог в одиночестве.

— Ну и как вы считаете — стоит ли рисовать фрегат сопровождения с той же тщательностью, что и корабль заказчика? Ведь его капитан мне не платил! Тогда и приходит на помощь дым. Я делаю набросок, на котором второе судно охвачено огнем и его заволакивает дым, а что касается шлюпа под командованием какого-то непонятного лейтенанта — хорошо, если он вообще появится где-то в углу. А вот корабль заказчика

объят ярким, бездымным пламенем и к нему устремились все силы врага.

— Можно только мечтать, — вклинился я, — чтобы на нас напали французы, дав нам возможность насладиться искусностью вашей кисти.

— Ни в коем случае, — угрюмо проворчал капитан. — Ни в коем случае.

Возможно, Брокльбанка наконец-то смутил тон Андерсона, потому что его веселье, как это часто случается у пьяниц, резко сменилось унынием.

— И это еще не конец. Заказчик возвращается и с порога начинает допытываться, почему фок-мачта у «Коринны» или, к примеру, «Эрато» съехала к носу, и что это за блок торчит вон там, на грота-брасе. Даже лучший мой клиент, не считая адмирала Нельсона — если, конечно, его вообще можно назвать клиентом, — отличался редкостной бестолковостью: ему не понравились легкие повреждения, которыми я наградил второй фрегат. Клялся, что стеньга — фок-стеньга, так, по-моему, он выразился, осталась на месте, потому что пушечные ядра туда не долетали. А вот на его корабле я не удосужился изобразить пробоины, хотя они там были! Заставил меня дорисовать их и убрать большую часть лееров. А потом и говорит: «Как бы и меня сюда воткнуть,

а, Брокльбанк? Я точно помню, как стоял вот тут, подле сломанного поручня, и, указывая клинком на врагов, призывал команду броситься на них сей же миг». Что тут поделать? Желание клиента — закон, вот первое правило каждого художника. «Ваша фигурка получится слишком крохотной, сэр Саммел», — попытался объяснить я. «Ну так сделайте ее побольше», — ответил он. «Понимаете, сэр Саммел, — с поклоном возразил я, — тогда фрегат, по сравнению с вами, будет казаться меньше». Заказчик пару раз прошелся по моей мастерской — прямо как наш капитан по шканцам, клянусь вам! — и решил: «Что ж, рисуйте крохотным. Но в треуголке и эполетах, чтобы родные узнали. Мне-то все равно, мистер Брокльбанк, но жена, но дети…»

— Сэр Саммел? — повторил капитан. — Вы сказали: сэр Саммел?

— Именно так. Может, перейдем к бренди?

— Сэр Саммел. А я ведь его знаю. Вернее, знал.

— Откуда? — спросил я, надеясь прервать словесный поток Брокльбанка. — Боевой товарищ?

— Я был тем самым лейтенантом, на шлюпе, — мрачно проговорил капитан. — Картину, правда, не видал.

— Неужели?! Тогда вы просто обязаны обо всем

рассказать. Сами знаете, как мы, сухопутные крысы, жадны до таких историй, — заметил я.

— Надо же — шлюп! — восхитился Брокль-банк. — Выходит, я встретил второго, ну этого самого — лей… налей… лейтенанта! Я просто обязан вас нарисовать. Сотрем немного дыма, и в самой его гуще появитесь вы!

— Да ведь так оно и было, — подольстился я. — Разве мог он отсиживаться где-то еще. Вы же были в самой гуще схватки, не правда ли, капитан?

— В самой гуще? В шлюпе против фрегатов? — почти зарычал Андерсон. — Капитан — я имею в виду сэра Саммела — вряд ли считал, что я на что-то гожусь, потому что рявкнул на меня во всю глотку, поднеся ко рту рупор: «Прочь отсюда, недоносок желторотый, пока я сам в тебя не пальнул!»

Я поднял стакан, салютуя капитану:

— Пью ваше здоровье. И глаз цел? И даже не оглохли?

— Где бренди, гарсон? Решено, капитан, я напишу вас буквально за символическую плату, и ваша дальнейшая служба…

Андерсон за своим концом стола пригнулся так, что казалось — вот-вот прыгнет. Кулаки сжались,

стакан покатился и зазвенел. Если прежде он рявкал, то теперь зарычал во все горло:

— Какая служба, идиот? Неужели вам не ясно, что война окончена и нас вот-вот спишут на берег, всех до единого?

Наступила тишина. Даже Брокльбанк, казалось, сообразил, что кругом творится что-то не то. Он уронил голову на грудь, потом вздернул подбородок и обвел всех бессмысленными глазами. Взгляд его обрел некую цель. Все мы, один за другим, повернулись в ту же сторону.

В дверях стоял Саммерс.

— Сэр. Я заглянул к мистеру Колли, сэр. Кажется, он умер.

Мы начали подниматься из-за стола — медленно, один за другим, переходя от первоначального оцепенения к осознанию случившегося. Я поглядел на капитана. Лицо его, только что бывшее багровым от злости, вмиг побледнело и стало совершенно непроницаемым. Во всяком случае, я не смог разглядеть на нем ни трепета, ни облегчения, ни грусти, ни восторга.

Бесстрастный, точно фигура на носу корабля, капитан заговорил первым:

— Господа, к сожалению, печальное происшествие вынуждает меня прервать наш ужин.

— Разумеется, капитан.

— Хоукинс, проводите пассажира в каюту. Мистер Тальбот, мистер Олдмедоу, будьте так любезны осмотреть тело, дабы подтвердить выводы мистера Саммерса. Я, со своей стороны, сделаю то же самое. Боюсь, злоупотребление спиртным привело пастора к печальному концу.

— Что вы зовете злоупотреблением, сэр? Одну-единственную случайную ошибку?

— О чем вы, мистер Тальбот?

— Так и запишете в судовом журнале?

Капитан отлично владел собой.

— Это уж я решу сам и в свое время, мистер Тальбот.

Я молча поклонился. Мы с Олдмедоу вышли, за нами то ли вытащили, то ли вынесли Брокль-банка. Замыкал шествие капитан. Казалось, все до единого пассажиры, во всяком случае, с кормовой части корабля, собрались в коридоре, молча взирая на дверь каюты Колли. Матросы, из тех, что не были заняты на вахте, и большинство переселенцев собрались у белой линии, делившей палубу пополам, и следили за нами также в полной тишине. Должно быть, кругом все-таки раздавались какие-то звуки — свист ветра, плеск волн о борт корабля, — однако я их не слышал.

Толпа расступилась, пропуская нас. Вход в каюту сторожил Виллер — белые облачка волос, лысина, мирное, покойное лицо, — при всем желании не могу сравнить его ни с кем, кроме как со святым, знающим все о путях и горестях этого мира. При виде капитана он поклонился с таким раболепием, будто к нему перешла мантия бедного, подобострастного Колли. И хотя при жизни священнику прислуживал Филлипс, именно Виллер отворил нам дверь и отступил в сторону. Капитан лишь на миг заглянул в каюту, тут же вышел и направился к трапу, на ходу махнув мне, чтобы я заходил. Не скрою, подчинился я без особой радости. Бедняга Колли все так же лежал на кровати, вцепившись в рым-болт, однако одеяло на нем было отогнуто, обнажая шею и щеку. Дрожащими пальцами я прикоснулся к лицу несчастного и тут же отдернул руку, словно обжегшись. Не было никакой нужды наклоняться и проверять его дыхание. Я вышел к молчаливой толпе и кивнул Олдмедоу, который сменил меня, облизнув бледные губы. Он внутри также не задержался.

— Итак, мистер Тальбот? — обернулся ко мне Саммерс.

— Ни одно живое существо не может быть таким холодным.

Мистер Олдмедоу закатил глаза и мягко сполз по переборке. Виллер, с выражением безграничного понимания на лице, пристроил голову блестящего офицера меж его собственных колен. И тут — кто же явился к нам в самый неподходящий из все неподходящих моментов, как не наш Силен?[35] Брокльбанк, то ли чуть протрезвевший, то ли, напротив, находящийся в крайней степени опьянения, вывалился из каюты, оттолкнув своих дам, пытавшихся его удержать. Женщины взвизгнули и тут же стихли, потрясенные этим новым поворотом событий. Брокльбанк, в одной рубахе, спотыкаясь и махая руками, рванулся в каюту Колли, на ходу отшвырнув Саммерса — да с такой силой, что тот закрутился на месте.

— Знаю я! — ревел он. — Вше, вше знаю! Я живопишец, я вше вижу! И вовше он не умер, а ушнул! Штакан доброго вина прогонит шлабошть, и нервная горячка…

Я метнулся следом за художником, сгреб его и отбросил в сторону. Ко мне присоединились Саммерс и Виллер, все вместе мы споткнулись об Олдмедоу — нет-нет, смерть есть смерть, ее надо описывать серьезно, — и выкатились в коридор,

---

[35] Примечания: 35

Силен — в древнегреческой мифологии демон, сатир, сын Гермеса и нимфы, воспитатель, наставник и спутник Диониса.

где собравшиеся вновь встретили нас гробовым молчанием. В некоторых ситуациях лучшая реакция — никакой реакции вовсе; пожалуй, им всем стоило бы разойтись. Кое — как мы затащили продолжавшего толковать о пользе спиртного Брокльбанка в его каюту, к смущенным, притихшим женщинам.

— Тихо, тихо, дружище, ложитесь-ка в койку, — бормотал я.

— Нервная горячка — такая штука…

— Да что еще за слабость?! Укладывайтесь, вам говорят! Миссис Брокльбанк, мисс Брокльбанк, ради всего святого!..

Дамы опомнились и помогли мне. Я выскочил из каюты, захлопнул дверь и тут же увидел, как Андерсон сбегает по трапу обратно в коридор.

— Итак, господа?

— Как мы установили, капитан Андерсон, мистер Колли мертв, — ответил я сразу и за себя, и за Олдмедоу.

— А почему до меня доносились крики о какой-то там «нервной горячке»? — прищурился капитан.

Из каюты Колли вышел Саммерс и закрыл за собой дверь. Этот жест вежливости в таких обстоятельствах выглядел довольно курьезно.

Лейтенант переводил взгляд с меня на капитана и обратно. Пришлось отвечать — без всякой охоты, но что еще оставалось делать?

— Это замечание, сэр, принадлежало мистеру Брокльбанку, который, судя по всему, несколько не в себе.

Готов поклясться, что у капитана вновь заблестели глаза, а на щеках наметились ямочки. Он оглядел толпу свидетелей.

— Тем не менее у мистера Брокльбанка имеется кое-какой медицинский опыт!

Прежде чем я успел хоть что-либо возразить, Андерсон скомандовал в своей прежней, деспотической манере:

— Мистер Саммерс, проследите затем, чтобы были сделаны необходимые приготовления.

— Есть, сэр.

Андерсон удалился бодрым шагом, а Саммерс продолжил раздавать приказания тоном, до боли напоминавшим капитанский:

— Мистер Виллис!

— Да, сэр!

— Вызовите на корму парусных дел мастера, его помощников да трех матросов покрепче. Возьмите тех, кто не на вахте и отбывает наказание.

— Есть, сэр.

И никакой тебе показной печали — верной спутницы профессиональных гробовщиков. Мистер Виллис бегом унесся наверх, а лейтенант обратился к пассажирам в своем привычном, мягком тоне:

— Дамы и господа, поверьте, не стоит вам наблюдать то, что сейчас последует. Могу я попросить вас очистить коридор? Свежий воздух палубы куда больше пойдет вам на пользу.

Вскоре в коридоре остались только слуги да мы с Саммерсом. Дверь одной из каморок распахнулась, и перед нами предстал совершенно нагой Брокльбанк, вещающий с комической серьезностью:

— Слабость — обратная сторона горячки, джентльмены. Желаю вам хорошего дня.

Его втащили обратно, дверь захлопнулась. Саммерс повернулся ко мне:

— А вы, мистер Тальбот?

— Я по-прежнему исполняю просьбу капитана, разве нет?

— Думаю, ее действие окончилось вместе со смертью мистера Колли.

— Мы с вами толковали о честной игре и положении, которое обязывает. Думаю, я нашел слово, которое их объединяет.

— Какое же?

— Справедливость. Или, ежели вам будет угодно, правосудие.

— И вы уже решили, кто сядет на скамью подсудимых?

— А вы нет?

— Я? Я в капитанской власти, сэр. У меня нет покровителя.

— Не будьте так уверены, мистер Саммерс.

Лейтенант изумленно посмотрел на меня и, задохнувшись, переспросил:

— Я…

Но тут коридор заполнили вызванные Виллисом матросы.

— Могу я попросить вас выйти на палубу? — глядя то на них, то на меня, спросил Саммерс.

— Лучше выпью стакан бренди.

Я проследовал в пассажирский салон, где под огромным кормовым окном сидел Олдмедоу с пустой бутылкой в руке. Он тяжело дышал, на лбу выступила обильная испарина. Щеки, однако, порозовели.

— Глупость какая, — пробормотал он. — Сам не знаю, что на меня нашло.

— Так-то вы ведете себя на полях сражений, Олдмедоу? Простите-простите! Я и сам не в себе.

Мертвец, лежащий в той же позе, в которой я совсем недавно видел его… хотя он уже тогда был… но теперь, окостеневший и холодный, как… Стюард! Да где, черт побери, его черти носят! Стюард! Бренди мне и мистеру Олдмедоу!

— Я понял о чем вы, Тальбот. Дело в том, что я еще ни разу не был на поле боя, не слыхал ни единого выстрела, за исключением того раза, когда мой соперник промазал не менее чем на ярд. Как тихо стало на корабле!

Через дверной проем было видно, как в каюту Колли, толпясь, заходят матросы. Я захлопнул дверь и повернулся к Олдмедоу.

— Вскоре все будет позади. Наши чувства вполне объяснимы, не так ли?

— Несмотря на то, что я ношу форму войск Его Величества, я никогда не видел покойников — разве что какого-нибудь каторжника в цепях. Именно поэтому мне стало так плохо — когда я до него дотронулся, понимаете? Между прочим, я из Корнуолла.

— С таким-то именем?

— Представьте себе, там не все носят имена на Тре, Пол или Пен. Господи, как же шпангоуты скрежещут! У нас изменился ход?

— Вряд ли.

— Тальбот, не кажется ли вам…

— Что, сэр?

— Ничего.

Мы посидели в молчании. Я почти ничего не чувствовал, кроме тепла, от заструившегося по жилам бренди. Вошел Саммерс. За его спиной я заметил группу матросов, выносивших на палубу парусиновый сверток. Лейтенант тоже не до конца избавился от бледности.

— Бренди, Саммерс?

Он покачал головой.

Олдмедоу поднялся на ноги.

— Думаю, глоток свежего воздуха мне не повредит. Как глупо все вышло! Чертовски глупо.

Мы с Саммерсом остались вдвоем.

— Мистер Тальбот, — понизив голос, сказал он. — Вы говорили о справедливости.

— Говорил.

— У вас есть дневник.

— И что же?

— И все.

Саммерс многозначительно кивнул и вышел. Я остался сидеть, как сидел, думая о том, насколько же плохо, в сущности, мы понимаем друг друга. Саммерс и не догадывается, что я уже использовал дневник для… Нет, не то чтобы я собирался

лгать на его страницах тому, чьи чистосердечные суждения… Вы, ваша светлость, любезно советовали мне поупражняться в искусстве лести. Однако как это возможно — льстить тому, кто мигом разгадает малейшую к этому попытку? Так разрешите мне ослушаться вас хотя бы в этом!

* * *

В общем, я обвинил капитана в злоупотреблении властью и даже своими руками записал в дневник суждение Саммерса о том, что часть вины лежит на мне. Не знаю, чего еще можно требовать от меня во имя справедливости. Впереди целая ночь и… Только сейчас, написав эти строки, я вспомнил о записях самого Колли, в которых, наверное, содержатся еще более веские доказательства жестокости капитана и вины вашего крестного сына. Да, пожалуй, взгляну, что там накорябал злополучный пастор, а потом постараюсь уложить себя в постель.

* * *

О Господи. Я сделал это, и лучше бы я этого не делал! Бедный, бедный Колли, бедный Роберт Джеймс Колли! Билли Роджерс, Саммерс с ружьем, Деверель и Камбершам, Андерсон — грозный, беспощадный Андерсон!

Если в мире есть хоть какая-то справедли-

вость… По почерку моему вы, наверное, видите, какое впечатление произвели на меня найденные записи, и я… я…

Сквозь зарешеченное окошко пробивается свет. Близится утро. Что же мне делать? Не могу же я отдать записки Колли — и не просто записки, а письмо, пусть без начала и без конца, — не могу же я отдать их капитану, хотя, строго говоря, именно это я и обязан сделать. И что же случится потом? Они просто-напросто полетят за борт, и никто никогда о них не узнает. Будет объявлено, что Колли умер от нервного истощения, да и дело с концом. Моя роль в этой истории испарится вместе с письмом. Не слишком ли я строг к себе? Ведь Андерсон — капитан, и, что бы он ни сотворил, всему найдется законное оправдание. Саммерс мне тоже не советчик. На кону все его будущее. Он может сказать, что хоть я и справедливо считаю письмо важной уликой, права прятать и присваивать его себе я не имею.

Что ж. Я ничего не спрячу. Я поступлю единственно справедливым образом — я имею в виду настоящую справедливость, а не ту, которую являет собой капитан или сухопутные судьи, — и передам все доказательства в руки вашей светлости. Андерсон боится, что его спишут на берег.

Если вы, как и я, считаете, что в своей жестокости он перешел всякие границы, тогда вовремя сказанное нужным людям слово может многое решить.

А я? Я описан гораздо правдивей, чем мне, честно говоря, хотелось бы. И поступки, которые казались мне достойными… Что ж, судите и меня.

Ах, Эдмунд, Эдмунд! Что за сентиментальные причуды? Разве не считал ты себя человеком трезвого ума, а не чувствительности? Разве не ощущал — нет, разве не верил, что беспечно принятая тобой общечеловеческая система морали уделяет больше внимания упражнениям разума, нежели порывам души? Вот и сейчас перед тобой вещь, которую хочется не обнародовать, а изорвать в клочья!

Я читал и писал всю ночь, простите мне некоторую невнятность. Все так зыбко и странно, и сам я словно бы в полусне. Пойду добуду клея и прикреплю письмо пастора тут, на этой странице. Оно станет еще одной частью Дневника Эдмунда Тальбота.

Сестра Колли ничего не должна знать. Еще одна причина для того, чтобы спрятать записки. Ее брат умер от нервной горячки — почему нет? Не-

счастная девушка-переселенка наверняка умрет от нее раньше, чем мы достигнем берега. О чем это я? Ах да, клей. Должен быть у кого-нибудь. К примеру, из копыт Бесси. Виллер наверняка поможет — вездесущий, всезнающий Виллер. А потом надо будет все спрятать. Теперь этот дневник несет в себе угрозу, подобно заряженному ружью.

Первая страница, а то и две утеряны. Именно их или ее я видел в руке у Колли, когда он в пьяном угаре шествовал по коридору с поднятой головой — шествовал, сияя, словно по небесам. Потом он впал в хмельное забытье, после чего пробудился — наверняка не сразу, мало-помалу. Какое-то время он не помнил, кто он и где он, а потом преподобный Роберт Джеймс Колли наконец-то пришел в себя.

Нет. Мне не нужно воображать, каково ему было. Я ведь заходил к нему в это самое время. Может быть, именно мои слова заставили его вспомнить все, что он потерял? Самоуважение. Симпатию коллег. Мою дружбу. Мое покровительство. В агонии схватил он злосчастное письмо, смял его и засунул как можно дальше — как засунул бы он сами воспоминания о случившемся, если бы это было возможно — подальше, поглубже, под кой-

ку, не в силах вынести мысли о… Нет, пора унять воображение. Разумеется, Колли довел себя до смерти, но вряд ли из-за дурацкого, одного-единственного… Вот если бы он совершил убийство или… Будучи тем, кто он есть, вернее — был… Нет, это просто бред, абсурд какой-то! Какая женщина могла бы подойти ему тут, на корабле?

А я что же? Я мог бы спасти его, если поменьше думал о собственной важности, и о том, что он утомит меня до смерти!

Ох уж эти суждения, рассуждения, интересные зарисовки и всплески остроумия, которыми я намеревался поразить вашу светлость! Вместо них приходится предоставлять вашему вниманию подробное описание счетов Андерсона и моих собственных просчетов.

Итак, перед вами:

ПИСЬМО КОЛЛИ

...Самое тяжкое и бессмысленное из своих испытаний я скрою завесой молчания. По причине затянувшейся морской болезни первые часы и дни запечатлелись в моей памяти смутно. Да и не хотелось мне живописать подробности — спертый воздух, жестокие нравы, распутство, богохульство — на корабле поневоле становишься всему этому свидетелем, будь ты даже лицо духовного звания! Теперь же, полностью оправившись от болезни, я в состоянии взяться за перо, и не могу удержаться, чтобы не вспомнить первые проведенные на корабле минуты. Пробившись через толпу на берегу, состоявшую из самой разношерстной публики, я попал на борт нашего славного корабля способом весьма трудоемким: меня подняли на палубу в своеобразной петле — наподобие качелей, висевших у нас позади хлева, — только несколько более сложно устроенной. На палубе я увидел молодого офицера, державшего под мышкой подзорную трубу.

Вместо того чтобы приветствовать меня, как подобает джентльмену приветствовать джентль-

мена, он повернулся к своим спутникам и высказался следующим образом:

— О Г…и, пастырь! Да наш «ворчун-драчун» выше мачты подпрыгнет!

Это один из примеров того, что мне предстоит здесь выносить. Не стану перечислять прочие подробности, дорогая сестра, ибо миновало уже много дней, как мы распрощались с берегами Альбиона. Хотя я немного окреп и могу сидеть за небольшой откидной доской, которая для меня и priedieu,[36] и пюпитр, и обеденный стол, на большее я покуда не решаюсь.

Мой первейший долг (после исполнения обязанностей, налагаемых на меня саном священника) — представиться нашему доблестному капитану, который владеет апартаментами двумя этажами — или, как мне теперь следует говорить, двумя палубами — выше. Надеюсь, он согласится передать мое письмо на какой-нибудь корабль, следующий обратным курсом, и таким образом ты получишь от меня весточку пораньше.

Покуда я писал, ко мне в каютку явился Филлипс (мой слуга!) и принес немного бульону. Он

---

[36] Примечания: 36
Молитвенный столик (фр.).

отсоветовал немедленно идти к капитану Андерсону. По его мнению, мне следует окрепнуть и начать принимать пищу в пассажирском салоне, а не в каюте — хотя бы столько, сколько я смогу, — и поупражняться в ходьбе в коридоре или же на палубе, где попросторней, — в том месте, которое он называет шкафутом, то есть там, где находится самая высокая мачта.

Моя милая сестрица, пусть я и не мог принимать пищу, как все же неблагодарно было с моей стороны роптать на свой жребий! Здесь истинный рай земной, нет, морской! Солнышко пригревает — настоящая благодать. А до чего красиво море — переливается красками, аки оперение птиц Юноны (сиречь павлинов), которые разгуливают по террасам Мэнстона. (Напоминаю: не упускай ни единого случая выказать внимание тамошним обитателям.) Подобное зрелище — наилучшее лекарство, коего можно пожелать, в особенности в сочетании с отрывком из Писания, предназначенным на каждый день.

На горизонте ненадолго появился парус, и я вознес краткую молитву за наше благополучие, кое в руцех Божиих.

Спокойствие офицеров и матросов помогает мне сохранять самообладание, хотя, впрочем, лю-

бовь и забота Спасителя — вот якорь, куда более надежный для меня, чем любой якорь на судне.

Посмею ли я признаться: когда неизвестный парус ушел за горизонт — а весь корабль так и не появился, — я поймал себя на суетных мечтаниях — будто корабль напал на нас, и я свершил героическое деяние — не из тех, которые пристали служителю Церкви; будучи в летах самых юных, я мечтал порой стяжать славу и богатство, сражаясь вместе с Героем Англии.[37] В сем простительном прегрешении я быстро покаялся. Ведь герои окружают меня со всех сторон и для них-то я и должен совершать богослужения. Я почти желал битвы — ради них! Они честно несут свою службу, бронзовые от загара; их мускулистые торсы обнажены, буйные кудри собраны в косы, штаны облегают сильные ноги и расширяются внизу, словно ноздри жеребца. С легкостью взбираются они на высоту сто футов. Не верь, прошу тебя, россказням недоброжелателей и дурных христиан о безжалостном обращении с матросами. Жестоких телесных наказаний мне тут видеть не доводилось, равно как и слышать о них. Самое суровое, что я видел — справедливое

[37] Примечания: 37

Нельсон, Горацио (1758–1805 гг.) — прославленный английский адмирал.

возмездие, примененное в должной степени к некоему юному джентльмену; досталось ему не более, чем иному нерадивому школяру, и кару он перенес столь же стоически.

Я должен дать тебе представление о нашем небольшом обществе, в котором мне предстоит жить неведомо сколько месяцев. Мы, то есть публика, так сказать, благородная, имеем резиденцию в задней части судна. По другую сторону шкафута имеется стена, а в ней — два проема с лестницами, или, как здесь говорят, трапами. Тут обитают наши славные матросы, а также пассажиры сортом пониже: переселенцы и тому подобное. Над всем этим возвышается еще одна палуба — полубак, а дальше — удивительнейшая вещь: бушприт. Ты, подобно мне, привыкла считать, что бушприт (помнишь корабль в бутылке у мистера Вэмбри?) — это палка, которая торчит с переднего конца корабля. Так вот, должен тебе сообщить: бушприт — мачта не хуже прочих, только расположена она почти горизонтально. Имеются на ней и реи, и штаги, и даже фалы. Скажу более — если другие мачты напоминают огромные деревья, по ветвям коих карабкаются наши отважные моряки, то бушприт можно уподобить дороге, крутой дороге, по которой они

ходят, а порой и бегают. В поперечнике бушприт более трех футов. И прочие «палки» — мачты — именно такой толщины. Самого толстого бука в лесу Сейкера не хватит на эдакую громадину. Когда мне приходит на ум, что напавший враг или, что еще ужаснее, силы стихии могут сломать их с той же легкостью, с которой мы обрываем морковную ботву, меня охватывает ужас. Боюсь я, конечно, не за свою жизнь. Это ужас перед величием огромной военной машины и еще одно необычайное ощущение — трепет перед природой существа, чье желание и долг — управлять такими громадинами во славу Бога и короля. И разве у Софокла (древнегреческий драматург) хор, обращаясь к Филоктету, не напоминает ему о том же самом?

Воздух теплый, порой жаркий, солнце ласкает нас горячими лучами. Если не проявить должной осторожности, такая ласка может и с ног свалить! Даже сидя здесь, я чувствую на щеках тепло солнечных лучей. Небо сегодня с утра было лазурно-голубое, и безбрежный океан, покрытый белыми барашками, ничуть не уступал ему голубизной. Я почти возликовал от такого зрелища, и оттого, как кончик бушприта — нашего бушприта! — выписывает круги над четкой линией

горизонта.

* * *

На следующий день.

Я значительно окреп и уже могу принимать пищу. Филлипс говорит, что скоро я окончательно поправлюсь.

Погода несколько переменилась. На смену вчерашней яркой лазури пришла белая дымка; ветер слабый, а то и вовсе пропадает. Бушприт — раньше стоило мне неосторожно бросить на него взгляд, как у меня делались приступы морской болезни, — словно замер. С той поры, как сокрылись за волнами берега нашей отчизны, окружающий мир переменился не менее трех раз. Где, вопрошаю я, леса и тучные нивы, где цветы и серая каменная церковь, в которой мы с тобой всю жизнь молились? А церковное кладбище, где упокоились наши дорогие родители, точнее, земные останки наших дорогих родителей, нашедших, несомненно, должную награду на небесах? Где все те сцены, кои были важнейшей частью твоей и моей жизни? Подобные вещи не подвластны человеческому рассудку. Есть нечто материальное, твержу я себе, что связывает место, где я был раньше, и место, где нахожусь теперь, подобно тому, как дорога соединяет у нас

Верхний и Нижний Комптон. Разумом я все понимаю, а сердце мое не находит покоя. Я упрекаю себя, говоря, что Господь наш находится здесь, равно как и там, а вернее всего, наше «здесь» и «там» для Его взора — одно и то же место.

Я снова выходил на палубу. Белый теплый туман стал еще гуще. Видны лишь очертания людей. Корабль остановился, паруса обвисли. Шаги мои звучали неестественно громко; я старался не обращать внимания. Никого из пассажиров я не встретил. Корабль ничуть не скрипел; отважившись выглянуть за борт, я не увидал ни волн, ни даже легкой ряби. Итак, я пришел в себя, но едва-едва. В этом горячем мареве я провел всего несколько минут, как вдруг по правую руку от нас сверкнула в тумане и вонзилась в воду белая молния. Одновременно прогремел и гром, от которого у меня зазвенело в ушах. Прежде чем я развернулся и ударился в бегство, раздались один за другим еще несколько раскатов и полился дождь… я чуть не сказал «рекой». Но тут словно и вправду собрались воды со всей земли. Огромные капли отскакивали от палубы чуть ли не на ярд! От поручней, где я стоял, до коридора было рукой подать, но я успел весь промокнуть. Я разделся, насколько дозволяло приличие, и, в изрядном

потрясении, сел за это письмо. Уже четверть часа — жаль, у меня нет хронометра! — дождь так и льет, струи так и хлещут по палубе.

Теперь буря громыхает в отдалении.

Судя по свету, проникающему в каюту из коридора, выглянуло солнце. Подул легкий ветерок — и вот слышится поскрипыванье, журчанье, плеск. Я сказал, что выглянуло солнце — но оно тотчас же и закатилось.

У меня же помимо ярких воспоминаний о пережитом испуге осталось не только ощущение Его ужасной силы и могущества Его творения, а еще и мысль о крепости нашего корабля, отнюдь не о его хрупкости и уязвимости! Я думаю о нем, словно об отдельном мирке, небольшой вселенной, где протекает наша жизнь и где мы получаем награду или кару. Надеюсь, в этой мысли нет ничего нечестивого. Мысль странная и неотвязная. Она не оставляет меня; ветер стихает, и я решил опять выйти. Наступила ночь. Не могу тебе описать, как высоко к звездам вздымаются наши мачты, сколь безбрежны наши паруса, и как далеко внизу колышется темная посверкивающая вода. Я замер у поручней, и не знаю, сколько так прошло времени. Пока я стоял, пролетел последний порыв ветра; блеск воды и звездное небо смени-

лись пустотой и мраком. Настоящее таинство. Это напугало меня; я отвернулся и увидел едва освещенное лицо штурмана Смайлса. По словам Филлипса, Смайлс после капитана второй, кто отвечает за навигацию корабля.

— Мистер Смайлс, скажите, какая здесь глубина?

Как я уже убедился, штурман — человек странный. Он склонен к долгим размышлениям и созерцанию. Его имя[38] ему подходит, ибо манерой задумчиво улыбаться он отличается от своих товарищей.

— Кто знает, мистер Колли.

Я принужденно рассмеялся. Штурман подошел ближе и стал всматриваться мне в лицо. Ростом он даже меньше меня, а я, как ты знаешь, никоим образом не великан.

— Наверное, миля, а то и две — как знать? Можно бы и промерить глубину, но мы не меряем. Нет необходимости.

— Больше мили!

Меня одолела вдруг слабость. Мы подвешены меж твердью, сокрытой под водами, и небом — подобно ореху на ветке или упавшему в пруд

---

[38] Примечания: 38
Smile (англ.) — улыбка.

листу. Не могу передать тебе, дорогая сестра, ужаса, который я испытал, а точнее, странного чувства: мы, живые создания — и здесь, где не место человеку!

Нынешней ночью я писал при свете весьма дорогой свечи. Мне, как ты знаешь, следует проявлять крайнюю бережливость, однако иного выхода не было, и хотя бы за этот расход меня следует простить. Именно в таких, как у меня, обстоятельствах — пусть даже человек в полной мере пользуется утешением, которое дает ему религия и позволяет его натура, — так вот, именно в таких обстоятельствах человеку нужен товарищ. Однако дамы и господа в этой части судна отвечают на мои приветствия без всякого радушия. Сперва я думал, что они ведут себя по пословице: «Пастыря не чурайся, но лишний раз ему не попадайся». Я снова и снова расспрашивал Филлипса, да, видно, напрасно. Откуда ему знать про обычаи сословия, к коему он не принадлежит? Он пробормотал лишь, что по народному поверью священник на корабле все одно что женщина на рыбацком судне — приносит несчастье. Однако столь примитивные и предосудительные суеверия отнюдь не свойственны нашим дамам и джентльменам! Это не причина. Вчера мне пока-

залось, будто я отыскал разгадку их непонятного ко мне пренебрежения. Среди нас есть знаменитый, или, скажем, известный вольнодумец, некий мистер Преттимен, сторонник республиканцев и якобинцев. Большинство относится к нему с неприязнью. Он невысок и коренаст. Его лысую голову обрамляет беспорядочный ореол — сколь неудачно, однако, я выражаюсь! — беспорядочная бахрома каштановых волос, свисающих на шею ниже ушей.

Мистер Преттимен яростно жестикулирует, что происходит, вероятно, от хронического негодования. Дамы помоложе его избегают; единственная, кто его поддерживает — мисс Грэнхем, дама зрелых лет и, как я полагаю, убеждений достаточно твердых, чтобы выстоять под жаркими аргументами этого господина. Есть здесь также одна молодая леди, мисс Брокльбанк — выдающейся красоты; о ней больше писать не стану, а то ты решишь, что я лукавлю. Она-то по крайней мере смотрит на твоего брата без недоброжелательства. Правда, ей приходится уделять много времени своей больной матушке — та страдает от морской болезни еще более меня.

Напоследок я приберег рассказ о молодом человеке, с которым надеюсь — и молюсь об

этом! — подружиться в путешествии. Он настоящий аристократ и обладает врожденным великодушием и благородством. Несколько раз я набирался смелости и приветствовал его, а он вежливо мне отвечал. Его пример может воздействовать на прочих пассажиров.

* * *

Сегодня утром я еще раз выходил на палубу. Ночью дул ветер, и мы слегка продвинулись, но теперь опять тихо. Паруса обвисли, в теплом воздухе стоит дымка, даже пополудни. И снова, и с той же пугающей внезапностью мелькнули в тумане вспышки молнии — ужасные в своем неистовстве.

Я забился в каюту с сильнейшим ощущением нашей беззащитности перед сими ужасными явлениями, и ко мне вернулось чувство, будто мы висим над водяной бездной, отчего у меня едва достало сил сложить руки для молитвы.

Однако мало-помалу я пришел в себя и обрел мир, хотя вокруг все так и бурлило. Я напомнил себе — и это следовало сделать раньше, — что одна добрая душа, одно доброе деяние, добрая мысль, и более того, прикосновение Благодати Господней, сильнее, нежели все бесконечные мили струящегося тумана, и влаги, и ужасающего

простора, и угрюмого величия океана. Конечно, подумал я с некоторой неуверенностью, люди скверные в своем невежестве испытывают здесь лишь страх смерти, в каковом пребывают по причине собственной греховности. Видишь ли, дорогая сестра, необычное окружение, слабость, проистекающая от моей затянувшейся морской болезни, врожденная робость, заставившая меня замкнуться в своей раковине, — все вместе произвело во мне нечто наподобие временного нарушения рассудка. Я даже принял крик какой-то морской птицы за вопли мятущейся души, из тех, о коих упоминал. Я смиренно возблагодарил Господа, за то, что он дал мне осознать мое заблуждение, прежде чем я полностью в оное уверовал.

Я избавился наконец от апатии. Мне видится по крайней мере одна причина, по которой ко мне относятся с таким безразличием. Я до сих пор не представился нашему капитану; это могло показаться неучтивостью по отношению к нему! Свою небрежность я намерен исправить как можно скорее. Подойду к нему и выражу сожаление, что вследствие моего недомогания на корабле не проводились воскресные службы, поскольку собственного капеллана на судне нет. Я должен

изгнать — и изгоню! — из памяти низкие мысли о том, как при моем прибытии на судно офицеры отнеслись ко мне с меньшим почтением, чем требует мой сан. Наши отважные защитники, я не сомневаюсь, на самом деле вовсе не таковы. Дабы подготовиться к нанесению визита капитану, я немного прогуляюсь по палубе. Ты помнишь мою всегдашнюю застенчивость перед лицом Власти и понимаешь, каково мне!

Я опять побывал на шкафуте и снова поговорил со штурманом. Он стоял с левой стороны судна и со свойственной ему сосредоточенностью взирал на горизонт; точнее сказать, туда, где следовало быть горизонту.

— Доброе утро, мистер Смайлс! Хорошо бы этот туман рассеялся…

Он улыбнулся — как всегда загадочно-отрешенно.

— Ладно, сэр. Я посмотрю, что можно сделать.

Я рассмеялся над его остротой. Хорошая шутка помогла мне полностью прийти в себя и даже избавиться от ощущения необычности происходящего. Я отправился к перилам (которые называются фальшборт) и посмотрел вниз, где в боках нашего необъятного корабля виднелись пушечные отверстия.

Шли мы медленно, и вода вокруг бортов лишь чуть завихрялась; я заставил себя разглядывать ее спокойно. Ощущение бездонной глубины — как описать его? Ведь и запруда у мельницы, и речные заводи кажутся глубокими! А здесь, в «водовратном океане» Гомера — бесконечное однообразие и впереди, и позади корабля, бороздящего воду. И вот я встретился с новой загадкой — да такой, которая Гомеру и не снилась! (Ведь Гомер, по общему мнению, был незрячим.) Как же может вода, соединенная с водой, образовать непроницаемость? Какую препону зрению воздвигает ее бесцветная прозрачность? Разве не видим мы через стекло, или алмаз, или хрусталь? Разве не видны нам солнце, луна и более слабые светила (я подразумеваю звезды) сквозь неизмеримую толщу атмосферы?

То, что ночью было черным и сверкало, а под страшными тучами казалось серым, теперь, под солнечными лучами, которые наконец-то прорвались сквозь туман, понемногу становится голубым и зеленым.

Отчего же мне, человеку Церкви, духовному лицу, знакомому с произведениями сильнейших умов нашего и предшествующих столетий и способному здраво их оценить, — отчего мне столь

интересна, отчего так волнует и влечет меня материальная сторона мироздания?

Отправляющиеся на кораблях в море![39] Думая о дорогой отчизне, я всякий раз не то чтобы тщусь проникнуть взором за горизонт (в моем воображении, конечно), но пытаюсь представить, сколько же суши, и вод, и страшных глубин потребно преодолеть взглядом, дабы увидать нашу — пусть будет по-прежнему «нашу» — деревню! Спрошу-ка я у мистера Смайлса, который, верно, хорошо разбирается в вычислении углов и прочего, — на сколько именно градусов нужно мне заглянуть за горизонт? Как, должно быть, странно будет у антиподов смотреть на носки своих туфель и думать, что ты… прости меня, я опять замечтался! Представь только, ведь и звезды там будут совсем незнакомые, и луна вверх тормашками!

Довольно предаваться фантазиям! Сейчас пойду и представлюсь нашему капитану! Быть может, причуды моего воображения, о коих я упоминал, развлекут его.

* * *

Я посетил капитана и изложу тебе факты, если

---

[39] Примечания: 39

«Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела набольших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине» (Псалт., 106: 23–24).

смогу. Пальцы у меня онемели и не чувствуют пера. Ты и сама увидишь — по почерку.

Итак, я облачился с большим, чем всегда тщанием, вышел из каюты и поднялся по лестницам на самую высокую палубу, где обычно находится капитан. В передней ее части — чуть приопущенной — располагается штурвал и компас. Капитан Андерсон и старший офицер мистер Саммерс вместе смотрели на компас. Я видел, что минута неподходящая, и стал дожидаться. Наконец, эти джентльмены окончили разговор, и капитан направился к задней оконечности судна. Я двинулся следом, не желая упускать случай. Однако, не дойдя до перил, капитан развернулся. Поскольку я шел за ним по пятам, мне пришлось отпрянуть, причем самым неподобающим для священнослужителя образом. Не успел я обрести равновесие, как он зарычал — словно виноват был я один. Я пробормотал несколько приветственных слов, но капитан Андерсон только хмыкнул. Затем он заговорил, причем не попытался придать своей речи хотя бы видимость вежливости:

— Пассажирам сюда можно подниматься не иначе как по моему приглашению. Я не привык, сэр, чтобы у меня путались под ногами. Идите восвояси, сэр, да следите за ветром.

— Следить за ветром, капитан?

Я почувствовал, как меня куда-то тащат. Какой-то юнец тянул меня в сторону, пока не отвел к противоположному борту, подальше от капитана Андерсона. Он буквально шипел мне в ухо. Оказывается, та часть палубы, откуда дует ветер, безраздельно принадлежит капитану. Таким образом, я допустил оплошность… хотя не вижу, в чем виноват, кроме разве неведения, вполне естественного для человека, никогда прежде в море не бывавшего. Однако я думаю, что грубость капитана по отношению ко мне объясняется не так просто. Быть может, он приверженец какой-либо секты? Если так, то я, как скромный представитель христианской Церкви, которая раскрывает объятия даже для грешников, не могу не сожалеть о столь опасном и сеющем рознь заблуждении. Если же причина не в сектантстве, и презрение это вызвано разницей в общественном положении, то дело обстоит ничуть не лучше или почти столь же скверно. Я — служитель Церкви, и у антиподов меня ждет почетная, хоть и скромная стезя. У капитана не больше оснований важничать со мной, то есть даже меньше, чем у отцов Церкви, с которыми я дважды сиживал за одним столом у моего еписко-

па! Я решился почаще прерывать свое уединение и показываться этому джентльмену — и всем пассажирам — в пастырском облачении, чтобы они, если уж не уважают меня, уважали хотя бы его! Я вполне могу рассчитывать на поддержку молодого джентльмена — мистера Эдмунда Тальбота, — а также мисс Брокльбанк и мисс Грэнхем. Очевидно, мне следует вернуться к капитану, почтительно извиниться за неумышленное вторжение и повести разговор о воскресных службах. Испрошу у него позволения причастить дам и господ, и, конечно, простых пассажиров — тех, кто пожелает.

Боюсь, только, публика на нашем корабле такова, что серьезных изменений к лучшему ждать не приходится. К примеру, довелось мне слышать о некоем ритуале, совершаемом у нас ежедневно, коему хотелось бы положить конец. Ты помнишь, как по-отечески суров наш епископ в своем осуждении пьянства среди низшего сословия. И как не осудить! Здесь же регулярно дают людям спиртное! Вот и еще одна причина для проведения служб — возможность заклеймить этот порок! Я вернусь к капитану и попробую умиротворить его. Ведь я должен быть всем для всех.

* * *

Я попытался — и потерпел унизительную, позорнейшую неудачу. Я, как уже писал, имел намерение подойти к капитанской палубе, извиниться за свое давешнее вторжение, получить дозволение подняться и тогда лишь перейти к вопросу о регулярных службах. Я едва в силах вспоминать поистине жуткую сцену, которая последовала за моей попыткой обратить на себя внимание офицеров и капитана, попыткой, совершенной с благими намерениями. Как я и собирался (и писал о том несколькими строками выше), я приблизился к месту, где стоял один из лейтенантов, а у штурвала — двое рулевых. Я поднял шляпу и вежливо произнес:

— Прекрасный нынче день, сэр.

Лейтенант мои слова проигнорировал, но то было еще не самое худшее. От задних перил раздался хриплый рев:

— Мистер Колли! Мистер Колли! Подите-ка сюда, сэр!

Не такого приглашения я ожидал. Мне не понравились ни слова, ни самый тон. Однако делать было нечего; я поднялся к капитану.

— Мистер Колли, вам непременно нужно разлагать моих офицеров?

— Разлагать, сэр?

— Именно так!

— Тут какая-то ошибка…

— С вашей стороны, сэр! Вы знаете, каковы полномочия капитана на его корабле?

— Думаю, весьма велики. Однако рукоположенный священник…

— Вы пассажир, сэр, всего-навсего. Более того, вы ведете себя гораздо хуже прочих.

— Сэр!

— Вы докучливы, сэр! Вас доставили на судно, не уведомив меня. Даже в отношении тюков и бочек ко мне проявили большую предупредительность. Я почтил вас доверием, надеясь, что вы умеете читать…

— Читать, капитан Андерсон? Конечно, я умею читать.

— Однако, несмотря на мои ясно изложенные распоряжения, вы, не успев еще полностью оправиться от болезни, уже дважды являлись сюда, отвлекая моих офицеров.

— Я ничего не читал, мне ничего не известно…

— Мои «Правила», сэр, изложены на бумаге, которая висит рядом с вашей каютой и каютами прочих пассажиров.

— Я не обратил…

— Чушь и глупости, сэр! У вас есть слуга, и «Пра-

вила» висят на виду.

— Но я не…

— Ваше неведение вас не извиняет! Если вы хотите пользоваться такой же свободой, какой остальные пассажиры пользуются в кормовой части судна… или вы не желаете находиться в обществе дам и джентльменов? Ступайте и прочтите мои «Правила»!

— У меня есть право…

— Прочтите, сэр. И вызубрите наизусть!

— Как так, сэр? Неужто вы намерены обращаться со мной, как с мальчишкой?

— Если мне будет угодно, я буду обращаться с вами, как с мальчишкой, или же прикажу заковать в кандалы; если мне будет угодно, я прикажу вас высечь или же повесить на нок-рее.

— Сэр! Сэр!

— Вы сомневаетесь в моих полномочиях?!

Тогда я все понял. Как и мой бедный приятель Джош — ты его помнишь, — капитан Андерсон безумен.

Джош пребывал в здравом уме, покуда речь не заходила о лягушках. А тогда уж все могли убедиться в его мании — и услыхать, и, увы, увидать. Вот и капитан Андерсон в целом здоров, но, по злому стечению обстоятельств, избрал меня

жертвой для своей мании унижать людей, отчего я и пострадал. Мне не остается иного, кроме как потакать ему, ибо, придя в бешенство, он способен привести в исполнение хотя бы некоторые свои угрозы. Я отвечал ему как можно непринужденнее, но голос мой, боюсь, постыдно дрожал.

— Что ж, пусть будет по-вашему, капитан Андерсон.

— Подчиняйтесь моим распоряжениям!

Я повернулся и тихо удалился. Уйдя от капитана, я почувствовал, как весь покрываюсь потом, совершенно холодным; лицо же у меня, напротив, так и пылало. Я испытывал сильнейшее нежелание видеть чьи-либо лица, встречаться с кем-либо взглядом. Из моих глаз лились слезы. Хотел бы я сказать, что то были мужские слезы ярости, но на самом деле я плакал от стыда. На суше нас судит государственная власть. В море же суд вершит капитан, чье присутствие, в отличие от государства, зримо; в море страдает достоинство человека. Тут своего рода соперничество — не странно ли?

И потому люди… Но я опять сбился с повествования. Скажу лишь, что я добрался, точнее, дополз ощупью до окрестностей моей каюты. Когда я немного оправился, и в глазах у меня проясни-

лось, я принялся искать капитанские «Правила». Они и впрямь висели на стене рядом с каютами! Теперь-то я припомнил: пока я хворал, Филлипс толковал о каких-то «Правилах», и даже именно капитанских. Лишь тот, кто испытал страдания, подобные моим, может понять, какой малый след оставили его слова в моем ослабевшем сознании. И вот, пожалуйста — такое несчастье, если не сказать большего. Я проявил самую что ни на есть беспечность. «Правила» помещались под стеклом, которое — видимо, под воздействием испарений — было слегка мутным. Однако прочитать написанное мне удалось; важнейшую часть я привожу ниже.

«Пассажирам ни в коем случае не дозволяется беседовать с офицерами, когда те выполняют служебные обязанности. Пассажирам настрого запрещается заговаривать с вахтенным офицером, за исключением тех случаев, когда последний явно выразил намерение говорить с пассажиром».

Теперь мне ясно, в какое ужасное я попал положение. Вахтенный офицер, как я понял, и был старший офицер, беседовавший с капитаном, а во время моего второго посещения-лейтенант, стоявший рядом с рулевыми у штурвала. Проступок я совершил неумышленно, однако это

ничуть его не умаляет. И пусть обращение со мной капитана Андерсона не соответствовало и никогда не будет соответствовать принятому между джентльменами, все же его в какой-то мере можно извинить, равно как и тех офицеров, которых я потревожил во время несения ими службы. К тому же самый род моей деятельности обязывает проявлять терпимость.

Я легко и быстро запомнил важнейшие фразы и сразу же возвратился на высокую капитанскую палубу, или, как называют ее моряки, «шканцы». Ветер несколько усилился. Капитан Андерсон расхаживал взад-вперед, а лейтенант Саммерс беседовал с другим офицером неподалеку от штурвала; двое рулевых вели наш огромный корабль по пенным волнам. Мистер Саммерс указал на какую-то веревку в хитросплетении снастей. Юный джентльмен, стоявший подле него, коснулся шляпы и кинулся вниз по лестнице — той самой, по которой я поднялся. Я приблизился сзади к капитану и стал ждать, когда он обернется. Капитан прошел сквозь меня!

Лучше бы так и произошло: слова мои не совсем преувеличение. По-видимому, он был глубоко погружен в раздумья. Рукой, которой капитан размахивал на ходу, он ударил меня в плечо, а

потом грудью — в лицо, так что я зашатался и растянулся на выскобленных добела досках палубы.

Я с трудом перевел дух. Голова моя гудела от сильнейшего удара о палубу. В первый миг мне показалось, будто сверху на меня глядит не один, а два капитана. Я даже не сразу понял, что он обращается ко мне.

— Встаньте, сэр! Немедленно! Будет ли конец вашим дерзким выходкам?

Я пошарил по палубе в поисках шляпы и парика, собрался с духом и ответил:

— Капитан Андерсон, вы просили меня…

— Я, сэр, ничего не просил! Я отдал приказ!

— Мои извинения…

— Я не просил ваших извинений! Вы не на суше, вы — в море. Ваши извинения мне не нужны!

— И все же…

И тут я подумал — и испугался, — что, судя по его взгляду и налившемуся кровью лицу, капитан способен нанести мне оскорбление действием.

Он поднял кулак, и я шарахнулся прочь, так и недоговорив. Но капитан стукнул себя кулаком в ладонь.

— Неужто мне снова и снова может докучать — у меня на шканцах! — всякий сухопутный бездельник, которому взбредет в голову здесь

прогуляться? Ну? Отвечайте, сэр!

— Мои извинения были…

— Меня больше беспокоит ваша особа, сэр, взявшая в привычку являться туда, куда не следует, и тогда, когда не следует! Отвечайте-ка урок, сэр!

Лицо у меня перекосилось. Я наверняка покраснел не меньше капитана. Потел я все сильнее и сильнее. В голове у меня еще гудело. Оба лейтенанта старательно разглядывали горизонт. Рулевые у штурвала замерли, точно бронзовые статуи. У меня даже, кажется, вырвалось рыдание. Слова, которые я только что так хорошо помнил, начисто вылетели у меня из головы. Из-за слез я едва видел. Капитан, уже с меньшей, как мне хотелось думать, свирепостью, проворчал:

— Итак, сэр, повторяйте!

— Сейчас припомню, сейчас…

— Отлично. Вернетесь, когда вспомните. Понятно?

Должно быть, я пытался отвечать, потому что он прервал меня злобным ревом:

— Чего же вы ждете, сэр?!

Я не то что пошел, а полетел к себе в каюту. Достигнув второго пролета лестницы, я увидал, как мистер Тальбот и двое юных джентльменов — еще три свидетеля моего унижения! — по-

спешили скрыться в коридоре. Я скатился по лестнице, а вернее сказать, по трапу, кинулся к себе в каюту и рухнул на койку. Меня всего трясло, зубы у меня стучали. Я задыхался. Я думаю — нет, уверен, — что со мной сделался бы нервический приступ, или обморок, или судороги, и пришел бы конец если не моей жизни, то рассудку, не услышь я, как в коридоре мистер Тальбот сурово выговаривает одному из своих спутников. Он сказал нечто вроде: «Знаете, господин гардемарин, джентльмен не должен смеяться, когда другой джентльмен подвергается унижению».

От этих слов у меня полились слезы — слезы облегчения. Да благословит господь мистера Тальбота! Он единственный благородный человек на всем корабле, и я молюсь, чтобы, прежде чем мы достигнем цели нашего путешествия, я мог назвать его другом и поведать ему, как много значило для меня его расположение! Я опустился на колени и вознес благодарность за его доброе отношение и понимание, за его великодушие и милосердие. Я молился за нас обоих. Лишь позднее я смог сесть за стол и взвесить свое положение с относительным спокойствием.

Вновь и вновь обдумывал я случившееся и, наконец, осознал одну вещь. А осознав, снова

едва не впал в панику. Не оставалось, а точнее, не остается никаких сомнений, что я сделался предметом особой враждебности со стороны капитана. Почти с трепетом ужаса я вспомнил тот момент, когда он, как я выразился, «прошел сквозь меня». Теперь я отчетливо видел: то было не случайно. Ударившая меня рука двигалась отнюдь не так, как обычно во время ходьбы, а поднялась неестественно высоко. Это же подтверждает и удар грудью, от которого я упал. Я понимал, чувствовал каким-то особым чутьем: капитан Андерсон ударил меня нарочно! Он — противник религии, вот в чем дело! Черная душа!

Слезы очистили мой разум. Я изнурен ими, но не сломлен! Я вспомнил о моем облачении. Он попытался его опозорить, но, сказал я себе, это под силу только мне. Даже не будь я священник, он не может меня обесчестить, поскольку на мне нет никакой вины, никакого греха, я всего лишь совершил оплошность, не прочитав его «Правила». И повинен в том не столько я, сколько моя хворь. Да, я вел себя неразумно, стал предметом насмешек и презрения со стороны офицеров и прочих джентльменов, исключая мистера Тальбота. Однако же — и я говорю это с полным

смирением! — та же участь постигла бы и самого Господа. Я начал понимать, что мое положение — незаслуженно унизительное — должно стать мне уроком. Господь низвергает сильных и возвышает смиренных и покорных. Покорным пришлось мне быть поневоле — перед суровой силой, силой абсолютной власти. А смирение и так мне приличествует…

Милая моя сестрица…

Как все странно. То, что я написал, не годится для твоих… для ее глаз, ибо сильно ранит. Все это нужно как-то переписать, изменить, смягчить, и все же… Если я пишу не для сестры, то для кого? Для Тебя, Господи? Неужели я, подобно Твоим святым (особенно святому Августину), обращаюсь прямо к Тебе, милосерднейшему Спасителю? Подобная мысль — и мучительная, и утешительная — повергла меня на колени, и я долго молился. Но я нашел силы отогнать ее, ибо недостоин. Я не коснулся края Его одеяния, лишь узрел Его стопы… это помогло мне лучше понять и себя, и свое положение. Я сидел и размышлял.

Наконец я заключил, что следует сделать одно из двух. Первое: никогда более не появляться на шканцах, и всю оставшуюся часть пути держаться от них подальше, сохраняя достоинство.

Второе: подняться к капитану, повторить «Правила» ему в лицо — и прочим, кто там будет, — и спокойно присовокупить какое-нибудь замечание вроде «Отныне, капитан Андерсон, я вас не обеспокою». Затем удалиться и никогда, ни при каких обстоятельствах, не посещать ту часть судна; вот разве капитан Андерсон снизойдет до извинений (в вероятность чего я, впрочем, не верю). Некоторое время я сочинял и репетировал свою последнюю речь перед ним. В конце концов я пришел к заключению, что капитан может просто не дать мне высказаться. Он ведь мастер на грубости. Стало быть, лучше избрать первый путь и не давать ему повода меня оскорблять.

Должен признаться, мой выбор принес мне огромное облегчение. С помощью Провидения мне удастся избегать капитана до самого конца плавания. И все же мой первый долг как христианина — простить его, каким бы чудовищем он ни был. И я смог простить, но только после молитв и раздумий о том, сколь ужасный жребий ждет его, когда он предстанет перед престолом Всевышнего. И я почувствовал себя его братом и пастырем и молился за нас обоих.

Помолившись, я, дабы развлечься, решил подобно известному персонажу светской литера-

туры, а именно Робинзону Крузо, поразмыслить о том, каковы теперь будут мои, как я их в шутку называю, владения на корабле. К ним относится моя каюта, примыкающий к ней коридор, пассажирский салон, где я могу подкрепиться — если достанет смелости — в присутствии дам и джентльменов, бывших свидетелями моего унижения. Есть также некое необходимое помещение в нашей части судна и еще та палуба, которую Филлипс называет шкафутом — до белой полосы у главной мачты, полосы, отделяющей нас от простого люда: как матросов, так и переселенцев. На той палубе я буду прогуливаться в хорошую погоду. Там смогу встречаться с более благосклонно настроенными джентльменами — и дамами. Там же я постараюсь укрепить и развить дружбу с мистером Тальботом, ведь он тоже там гуляет. В сырую и холодную погоду мне, разумеется, придется ограничиться своей каютой и коридором. Даже если я буду вынужден довольствоваться этими помещениями, то смогу без особых неудобств вынести предстоящие месяцы плавания и избежать самого страшного — тоски, могущей привести к безумию. Все будет хорошо.

От таких мыслей и принятого решения я получил столько суетного удовольствия, сколько

не получал с тех пор, как оставил дорогие моему сердцу места. Я тут же покинул каюту и начал прохаживаться по своим «владениям», размышляя о людях, которые, обрети они столь обширное пространство, радовались бы ему, как свободе! Подразумеваются узники, ввергнутые в темницу в борьбе за правое дело.

И хотя я, так сказать, отрекся от той части судна, право на которую дает мне уже само мое облачение и которая должна быть центром нашего общества, шкафут некоторым образом предпочтительнее шканцев! Я видел, как мистер Тальбот не только дошел до белой полосы, но и пересек ее и прохаживался среди простых людей, являя пример благородного демократизма.

После того как я написал предыдущие слова, я еще ближе познакомился с мистером Тальботом! Именно он, он сам меня отыскал! Вот кто по-настоящему предан вере. Он пришел ко мне в каюту и самым откровенным и дружеским образом упрашивал меня оказать честь плывущим на корабле и вечером обратиться к ним с небольшой речью. Я так и сделал — в пассажирском салоне. Не могу похвалиться, что многие из нашей знати — как я их зову — слушали с большим вниманием, а из офицеров и вовсе присутствовал лишь

один. И потому обращался я к тем, чьи сердца, по моему мнению, открыты для моих слов: к молодой даме, весьма красивой и благочестивой, и к самому мистеру Тальботу, чья набожность вселяет веру не только в него лично, но и в его сословие в целом. Вот если бы вся английская знать, как мелкая, так и крупная, прониклась подобным духом!

На корабле, по-видимому, сказывается влияние капитана Андерсона, или же, возможно, меня игнорируют просто от утонченности манер и деликатности чувств — однако когда я сам приветствую со шкафута прохаживающихся по шканцам дам и господ, они редко отвечают на мои приветствия. Хотя, сказать по правде, последние три дня приветствовать мне никого не довелось — шкафут для прогулок непригоден, ибо весь залит морской водой. Мне уже не так худо, как раньше — я стал заправским моряком! А вот мистеру Тальботу очень скверно. Я спросил у Филлипса, в чем дело, и он с явным оттенком сарказма ответил, что тот, мол, скушал чего-то не то. Я отважился пройти по коридору и постучал в каюту мистера Тальбота, но он не отвечал. Набравшись смелости, я отодвинул щеколду и вошел. Молодой человек спал: на его щеках и

подбородке виднелась недельной давности щетина. Осмелюсь ли описать впечатление, которое произвел на меня вид спящего? Я узрел лицо Того, кто страдал за всех нас, и когда, повинуясь невольному побуждению, я склонился к нему, то почувствовал — я не ошибаюсь! — в его дыхании благоухание святости! Я не счел себя достойным приложиться к его устам, но поцеловал руку, лежавшую поверх одеяла. И такова была сила добродетели, что я удалился, словно от алтаря.

Погода снова прояснилась. Я возобновил прогулки по шкафуту, а дамы и джентльмены — по шканцам. Я уже неплохой моряк: не сижу взаперти, могу бывать среди людей!

Воздух в каюте горячий и влажный. И то сказать, корабль наш приближается к самым жарким широтам. И вот я, в одной сорочке и своих невыразимых, сижу у пюпитра и сочиняю письмо — если только это письмо; оно, можно сказать, мой единственный здесь товарищ. Должен сознаться, что с тех пор, как капитан столь резко меня осадил, я все еще робею перед дамами. Мистер Тальбот, по слухам, поправляется и уже несколько дней как выходит из каюты, но меня сторонится — по-видимому, из деликатности, не желая меня лишний раз смущать.

Я снова был на шкафуте. Теперь там тихо и хорошо. Прогуливаясь по палубе, я составил о наших отважных моряках как раз такое мнение, коего люди сухопутные всегда и придерживались. Я понаблюдал вблизи этих простых тружеников. Славные парни, чьи обязанности заключаются в том, чтобы вести корабль: карабкаться по веревкам, проделывать непонятные вещи с парусами, причем в самом рискованном положении, ибо взбираются они на страшную высоту! Ради нашего продвижения им приходится нести службу денно и нощно. И они постоянно что-то моют, скребут, красят. Из обычных веревок они сооружают удивительнейшие конструкции. Я и не знал, что из веревки можно сделать такое! На суше я то и дело встречал искуснейшие образцы резьбы по дереву, изображающие веревку; здесь же я вижу сооружения из веревки, похожие более на произведения из резного дерева. Некоторые матросы, впрочем, и вправду вырезают что-то из дерева, из скорлупы кокосовых орехов, или кости, а то и слонового бивня. Иные изготавливают макеты кораблей, коими украшаются витрины лавок, окна гостиниц и портовых кабачков. Их изобретательности нет предела!

Все это я с удовольствием наблюдаю издали,

укрывшись под деревянной стеной, от которой поднимаются лестницы к каютам пассажиров благородных. Наверху стоит тишина, иногда слышен негромкий разговор, иногда выкрикивают команды. Зато впереди, за белой чертой, люди и трудятся, и поют, и хлопают в ладоши под звуки скрипки — точно невинные дети пляшут они под музыку. В них словно воплотилось само Детство. Это даже приводит меня в некоторое недоумение.

В передней части корабля теснится много народу. Тут обитает и отряд солдат в мундирах, и группа переселенцев — женщины их столь же просты, сколь и мужчины. Но когда я смотрю на матросов, не думая о прочих, то не перестаю удивляться. По большей части они не умеют ни читать, ни писать. Они не знают ничего того, что знают наши офицеры. Но у этих замечательных мужественных людей, несомненно, есть собственное… как бы его назвать? Слово «государство» не подходит, ибо государство подразумевает город. Возможно, «общество» — если забыть о том, что они подчинены офицерам. Есть и еще одно сословие между ними и офицерами — офицеры младшего ранга; так же и простые матросы пользуются в своем кругу разной степе-

нью влияния.

Так кто же они на самом деле — столь свободные и столь зависимые? Они — моряки, и я начинаю постигать значение этого слова. Когда они не заняты службой, можно видеть, как они стоят, сцепившись локтями или положив руки друг другу на плечи. Порой они спят прямо на выскобленных досках палубы, положив голову на грудь соседа! Невинные удовольствия подобного товарищества, коих мне почти не довелось испытать, радость дружеской близости, или даже уз меж двумя людьми, уз, кои, как учит нас Священное Писание, превыше любви к женщине, — вот цемент, скрепляющий их общество. И как же досадно — мне, находящемуся в своих, как я шутливо выражаюсь, «владениях», — ибо жизнь в передней части судна в чем-то лучше той жизни, что подчиняется порочной системе управления, которая царствует от кормы до бизань-мачты, а то и до грот-мачты. (Эти два названия я почерпнул у моего слуги Филлипса.) Увы, мой сан и проистекающее из него положение в обществе принуждают меня оставаться там, где я более не хочу быть!

Ненадолго воцарилась скверная погода — не совсем скверная, но достаточно, чтобы удерживать

большинство дам в каютах. Мистер Тальбот тоже не выходит. По уверению моего слуги, молодой человек не болен, но из каюты его раздавались столь странные звуки! С безрассудной смелостью предложил я свою помощь — и сразу и озадачился, и озаботился, вырвав у бедного юноши признание, что он пытался смирить свою душу молитвой! Я далек, весьма далек от того, чтобы винить его — нет, нет, я его не виню, но звуки были полны исступления! Боюсь, молодой человек, несмотря на занимаемое им положение, стал жертвой какого-нибудь крайнего направления в религии, против которых наша Церковь столь решительно ополчается. Я должен ему помочь — и помогу! Но это получится только тогда, когда он придет в себя и снова станет, как и раньше, непринужденно появляться среди нас. Подобные приступы фанатической набожности куда опаснее лихорадки, коей подвержены обитатели здешних широт. Ведь он человек мирской; моя же приятная обязанность — вернуть ему прежнее, спокойное отношение к религии, каковое и есть, — если мне позволено измыслить такое понятие, — и есть самый дух английской Церкви!

Мистер Тальбот опять появился — и избегает меня. Вероятно, молодой человек смущен, что

был застигнут во время столь длительного религиозного экстаза. Покамест я не стану докучать ему. Буду день заднем молиться за него, а тем временем, надеюсь, мы исподволь приблизимся к полному взаимопониманию. Сегодня я приветствовал его издали, когда он прогуливался по шканцам, но он предпочел не заметить. Славный юноша! Он, с такой готовностью помогающий другим, сам не снизойдет до просьбы о помощи!

Нынче утром на шкафуте я вновь был свидетелем церемонии, коей я и огорчаюсь, и невольно любуюсь. На палубу выкатили бочонок. Матросы выстроились в ряд, и каждый получил кружку жидкости, каковую и осушил с восклицанием: «Господи, храни короля!» Вот бы Его Величество видел! Мне, разумеется, известно, что напиток тот — дьявольское зелье, и я не на йоту не отступил от своего мнения, что низшему сословию следует запретить употребление горячительных напитков. Довольно с них — и даже лишнего будет — эля, пусть его и пьют!

И все же здесь, у грот-мачты, под палящим солнцем, когда я гляжу на этих загорелых, обнаженных до пояса молодых людей — их руки и ступни загрубели от честного и тяжкого труда, лица их обветрены бурями всех морей, ветерок

треплет их буйные кудри, — убеждение мое пусть и не изменилось, но, во всяком случае, поколебалось и смягчилось. Я смотрел на одного юношу со стройными ногами и тонким станом, но широкими плечами — истинный сын Нептуна! — и чувствовал: все скверное, что есть в происходящем, сглаживается тем, для кого сей ритуал проводится. Ибо эти создания, эти молодые парни, или, во всяком случае, некоторые из них, и один в особенности, словно принадлежат к племени исполинов. Мне вспомнилась легенда о Талосе, искусственном человеке — внутри его бронзовой оболочки пылал жидкий огонь. И мне кажется, что пламенная жидкость (то есть ром), которую вследствие ложно понимаемой гуманности и доброжелательства подносят морякам, и есть настоящий ихор (текший, как известно, в жилах греческих богов) этих существ, наполовину божественных, сложенных, как герои античности! Тут и там красуются на них следы наказаний — свои рубцы они носят непринужденно и даже с гордостью. Я искренно верю, что кое-кто из матросов видит в них знаки отличия!

Некоторые, и таких немало, имеют на себе шрамы неоспоримо славные — от сабель, от картечи, от пуль. Серьезных увечий ни у кого нет, лишь

небольшие — кто-то лишился пальца, кто-то уха или глаза — и подобные изъяны носят они как медали. Есть тут один матрос, которого я зову своим Героем! Он отмечен всего несколькими царапинами — на левой стороне его приятного открытого лица, словно он, подобно Гераклу, сражался с диким чудовищем! (Геракл сразился с Немейским львом.) Он ходит босым — я говорю о своем юном Герое, а не о том, легендарном. Нижняя часть его одеяния так облегает ноги, что кажется изваянной вместе с ними. Я не мог не залюбоваться его мужественной грацией, когда он осушил кружку и поставил ее на бочонок.

Тут ко мне пришла странная мысль. Изучая историю нашего государства, я как-то прочел, что по первом приезде Марии Стюарт в ее королевство в ее честь устроили пиршество. Шея у нее была очень тонкая, и кожа очень нежная, и когда Мария пила вино, яркая рубиновая жидкость так и просвечивала сквозь кожу. Эта сцена всегда сильно волновала мое детское воображение. Сейчас я вспомнил, как с наивной радостью мечтал, что моя спутница будет обладать таким же изяществом — помимо, разумеется, достоинств разума и души! И вот теперь я нахожусь в своих владениях — каюта, коридор и шкафут, — а ми-

стер Тальбот меня чуждается: я чувствую себя низвергнутым с трона, куда вознесен отныне новый монарх! Этот молодой человек, словно отлитый из бронзы, и с текущим в жилах ихором, — когда он пил ром, мне казалось, будто я слышу рев печи и внутренним зрением вижу, как из него вырывается пламя… А обычным зрением я вижу: именно он — повелитель! И я от всего отрекся и жаждал опуститься перед ним на колени. Сердце мое томилось от страстного желания привести молодого человека к Спасителю — первый и, конечно, самый бесценный плод урожая, который я призван собрать!

Мой Герой отошел от бочонка, а я не мог оторвать от юноши глаз. Впрочем, он отправился туда, куда мне, увы, ход заказан. Он взбежал по той самой мачте, расположенной почти горизонтально, то есть по бушприту, с его хитросплетением веревок, и снастей, и цепей, и парусов. Мне вспомнился старый дуб, на который мы с тобой имели обыкновение забираться. Он же (Повелитель!) поднялся, точнее, взбежал туда и стоял на самом конце, глядя на море. Его тело чуть покачивалось в такт движениям корабля. Лишь одним плечом он слегка прильнул к какой-то веревке — так прислоняются к дереву! Потом

он развернулся и, пробежав несколько шагов, улегся на бушприт — так же непринужденно, как я ложусь в собственную постель! Что еще может служить таким символом безграничной свободы, как молодой моряк, взбирающийся по ветвям одного — назову их так! — одного из плавучих деревьев Его Величества! Или даже рощи! И Повелитель возлежал на бревне, увенчанный короной своих кудрей.

…Впрочем, у меня расходилось воображение.

Мы вошли в штилевые широты. Мистер Тальбот по-прежнему меня избегает. Он бродил по всему кораблю, спускался в самые его недра, словно искал какого-нибудь уединенного места, где смог бы без помех предаваться молитвам. Я боюсь, мое к нему обращение было несвоевременным и принесло более вреда, чем пользы. Что же еще я могу сделать?

Мы стоим на месте. Море подобно зеркалу. Неба нет, есть только белая пелена, которая со всех сторон легла на нас жарким покровом, и край ее словно опускается за горизонт и сильно сокращает круг видимого пространства. А круг этот светится нежной голубизной. Иногда разные морские обитатели нарушают тишину — и водную гладь. Но даже когда в воде никто не резвится,

там все равно происходит какое-то движение, поверхность местами колышется, словно вода — не просто колыбель и прибежище множества морских созданий, но кожа некоего живого существа, своей громадностью превосходящего Левиафана.

Для того, кто никогда не покидал прекрасных долин нашего отечества, здешние духота и сырость просто невообразимы. Вследствие неподвижности корабля — о том, я полагаю, не говорится в отчетах о морских путешествиях, — усилилось зловоние, которое поднимается от воды. Вчера с утра дул небольшой ветерок, но теперь опять штиль. Стоит тишина, и потому звон судового колокола звучит неожиданно и пугающе громко. Сегодня из-за неизбежного загрязнения окружающих вод скверный запах стал невыносим. С выстрела спустили шлюпки, и корабль слегка оттянули от зловонного места; если ветра не будет, придется делать это снова. У себя в каюте я лежу или сижу в сорочке и панталонах, и все равно с трудом терплю духоту. Наши дамы и джентльмены тоже остаются в каютах, лежат, думаю, ожидая, когда изменится и погода, и наше местоположение. Один только мистер Тальбот бродит, словно неприкаянный, бедный юноша! Да пребудет с ним Господь и да сохранит

его! Однажды я приблизился к нему, но он лишь слегка поклонился с отстраненным видом. Что ж, еще не время.

* * *

До чего же нелегко придерживаться добродетели! Это требует постоянной бдительности, нужно вечно быть начеку — о, милая сестра, как сильно должна ты, и я, и любая христианская душа всякий миг полагаться на Божье милосердие! У нас тут возникла распря! Она случилась не между беднягами, обитающими в передней части корабля (как ты могла предположить), но здесь, среди джентльменов, более того, среди самих офицеров!

Дело было так. Я сидел за своим пюпитром и очинял перо, когда услыхал в коридоре какую-то возню, а потом голоса — сначала негромкие, затем повышенные:

— Деверель, пес эдакий, я видел, как вы выходили из каюты!

— А вам что за дело, Камбершам, мошенник вы!

— Отдайте мне сейчас же, сэр! Не то, клянусь Б…м, я сам возьму!

— Да оно не распечатано, Камбершам, подлый пес! Я прочитаю, ей-Б…у, прочитаю!

Возня стала громче. Я был в сорочке и панталонах; туфли мои с кое-как вложенными в них чулками валялись под койкой, а парик я повесил на первый попавшийся гвоздь. Выражения меж тем пошли совсем нечестивые и грязные, и я не мог более попустительствовать. Уже не думая о том, как выгляжу, я поспешно встал, вышел из каюты и увидел двух офицеров, отчаянно пытавшихся отобрать друг у друга какое — то письмо. Я воскликнул:

— Джентльмены! Джентльмены! — И схватил за плечо того, кто стоял ближе. Они прекратили бороться и повернулись ко мне.

— Это еще кто, Камбершам?

— Священник, наверное. Займитесь-ка, сэр, своими делами!

— Я и занимаюсь своим делом, друзья мои… призываю вас внять зову христианского человеколюбия и прекратить ваше недостойное поведение; не употребляйте столь непристойных слов и уладьте дело миром.

Лейтенант Деверель замер и глядел на меня, раскрыв рот.

— Ч…а с два!

Джентльмен, которого он называл Камбершамом, тоже лейтенант, ткнул пальцем мне в лицо

с такой яростью, что не отпрянь я, палец угодил бы мне в глаз.

— Это кто же, пес его забодай, позволил вам читать здесь проповеди?

— Вы правы, Камбершам!

— Я сам разберусь, Деверель! Итак, священник — если вы священник — предъявите-ка ваши полномочия.

— Полномочия?

— Вот ч…т! Свидетельство ваше!

— Свидетельство?..

— Разрешение, Камбершам. Это называется «разрешение проповедовать». И вправду, покажите-ка ваше разрешение.

Я был озадачен, сбит с толку. Дело ведь в том, что — пишу тебе нарочно, дабы ты могла предупредить всякого молодого священника, собравшегося отбыть в подобное путешествие, — я положил подписанное епископом разрешение (вместе с прочими бумагами, не нужными, как я полагал, в плавании) в мой дорожный сундук, который покоится где-то в недрах трюма. Я попытался коротко объяснить это офицерам, но Деверель меня перебил:

— Замолчите, сэр, не то я отведу вас к капитану!

Подобная угроза, должен признаться, заставила меня вострепетать и укрыться в каюте. На минуту-другую я задумался — разве не удалось мне, в конце концов, погасить их взаимную вражду? Ведь, уходя, они громко смеялись. Поразмыслив, я заключил, что столь беззаботное — большего не скажу — настроение вызвано скорее всего небрежностью моего туалета, а также моим испугом, коим закончилась беседа. Разумеется, я сам виноват, позволив себе появиться на людях не в том виде, который освящен обычаем и какого требует благопристойность. Я принялся поспешно облачаться, не позабыв и белых полотняных лент, хотя при такой жаре они тяжко давят мне на горло. Я пожалел, что моя риза и капюшон уложены, или, вернее сказать, погребены внизу, вместе с прочим моим снаряжением. Наконец, имея на себе хотя бы некоторые видимые знаки достоинства и власти моего сана, я прошествовал из каюты в коридор. Но лейтенантов, конечно, уже и след простыл.

Однако же здесь, в экваториальных широтах земного шара, стоило мне побыть в полном облачении несколько минут, как я начал обливаться потом. Я вышел на шкафут, но и там не нашел спасения от жары. Я вернулся в коридор, затем в

каюту и решил успокоиться, хотя и не знал, что теперь делать. Ведь без приличествующего моему сану облачения меня могли принять за одного из переселенцев! Я и так не могу беседовать с благородными дамами и джентльменами, и лишь однажды у меня была возможность обратиться к простому люду.

Выносить здешнюю жару и влажность в одежде, принятой в английской деревне, просто невозможно.

Повинуясь импульсу, произведенному, боюсь, скорее чтением авторов античности, а не обычаем христианским, я раскрыл Священное Писание и, прежде чем сам осознал, что делаю, прибегнул к своеобразным Sortes Virgilianae,[40] то бишь к гаданию по книге — прием, который я всегда считал сомнительным, пусть даже этим занимались достойнейшие служители Господа. Взор мой упал на слова второй книги Паралипоменон, ст. 10:35–36: «Весь народ, оставшийся от Хеттеев, и Аморреев, и Ферезеев, и Евеев и Иевусеев, которые были не из сынов Израилевых». Эти слова я в следующий же миг отнес к капитану Андерсону

[40] Примечания: 40

Вергилиевы прорицания — гадание по смыслу произвольно выбранного отрывка из «Энеиды» Вергилия, практиковавшееся в древности и в Средние века.

и лейтенантам Деверелю и Камбершаму, после чего пал на колени и молил о прощении.

О сем незначительном происшествии я упомянул для того лишь, чтобы показать странность людских поступков, препятствующих взаимному согласию, показать необычность жизни в этой непривычной части света среди непривычных людей и в причудливом сооружении из английского дуба, которое везет меня и в котором мне столь не везет! (Надеюсь, сия парономазия, то бишь каламбур, доставит тебе небольшое развлечение.)

Далее. Закончив молиться, я обдумал, как мне лучше поступить, чтобы в дальнейшем не происходило никаких недоразумений относительно моего положения и сана священника. Я разоблачился, сняв все, кроме сорочки и панталон, и в таком виде уселся перед небольшим зеркалом, перед коим обычно бреюсь, и стал себя разглядывать. Это оказалось не так-то легко. Помнишь дырку от сучка в стене нашего амбара, через которую мы, дети, имели обыкновение подсматривать за Джонатаном, или за нашей бедной доброй матушкой, или за мистером Джолли, управляющим его светлости? Наскучивши этой забавой, мы вытягивали шеи в разные стороны,

испытывая, какую часть света можно разглядеть через маленькую дырочку. И рассказывали друг другу о том, как много мы увидели — от Севен Эйкра до вершины холма. Вот и я — то таким же манером крутился возле зеркала, то крутил его перед собой. Однако же (если мое письмо будет отослано) выходит, я учу представительницу прекрасного пола пользоваться зеркалом и искусству, посмею сказать, самосозерцания. В моем случае, конечно, я подразумеваю изучение своей персоны, а не любование ею. В увиденном мною в зеркале было чему подивиться, но любоваться — нечем.

Раньше я не задумывался о том, сколь суровы для мужской кожи могут быть почти отвесно падающие солнечные лучи.

Волосы у меня, как ты знаешь, светлые, но оттенка неопределенного. Я теперь замечаю, что стрижка, коей ты меня подвергла перед отъездом, вышла, вследствие нашего общего уныния, весьма неровная. С течением времени неровность эта не сгладилась, а, напротив, стала заметнее, и голова моя отчасти напоминает небрежно сжатую ниву. Во время первой болезни я был не в состоянии бриться, после же корабль сильно раскачивало (зато теперь он недвижен!), а сейчас

кожа моя так обгорела, что я боюсь причинить себе боль — и в результате нижняя часть моего лица покрыта щетиной. Щетина не слишком длинна — борода у меня растет медленно, — зато она разноцветная. А меж двух моих скверно сжатых нив — то есть меж волосами и бородой — неплохо порезвился старина Соль![41] На лбу у меня, там где его обычно покрывает парик, осталась полоса розовой кожи. А ниже — кожа коричневая, а в одном месте еще и шелушится. Далее же пылают, как огонь, нос и щеки.

Воистину, полагать, что, появившись перед людьми в сорочке и панталонах, да еще с таким лицом, я не уронил достоинства священника, значит, предаваться самообману. Вдобавок носящие мундир более прочих склонны судить о человеке по его платью. А мой «мундир», как я со всем смирением его называю, должен быть строгого черного цвета с белоснежным воротничком и париком — вот украшения человека духовного. В глазах офицеров и матросов нашего корабля священник без белых лент и парика заслуживает не больше уважения, чем какой-нибудь побирушка.

Да, прервать мое уединение меня заставил

---

[41] Примечания: 41

Соль — бог солнца у древних римлян.

шум ссоры и желание совершить добрый поступок, однако же я заслужил упрек. Я представил, какое являл зрелище — с непокрытой головой, небритый, с шелушащимся лбом, неодетый — и от испуга даже затаил дыхание. Со смущением и стыдом вспомнил я обращенные ко мне при моем рукоположении слова, слова, кои мне следует полагать почти священными — по причине важности события и святости того, кто их рёк. «Избегай дотошности и старайся всегда выглядеть достойно». А разве того, кого я увидал сейчас в зеркале, можно назвать достойным делателем, кои надобны для жатвы Господней?[42] К тому ж для тех, среди кого я ныне обретаюсь, пристойный облик не просто desideratum, он для них sine qua non! (То есть не просто желателен, а необходим.) Я преисполнился решимости впредь об этом не забывать. Проходя через свои владения, я должен не просто быть служителем Господа, я и выглядеть должен как служитель Господа!

Дела мои пошли немного лучше. Приходил лейтенант Саммерс; он спросил, не уделю ли я ему минуту-другую для разговора. Я через дверь просил его не входить, поскольку ни одеяние мое,

[42] Примечания: 42

«Жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Матф., 9:37–38).

ни вид не подходили для приема посетителей. Он выразил согласие, но тихим голосом, словно боялся, как бы кто-то не услыхал. Лейтенант Саммерс принес извинения за то, что службы в пассажирском салоне более не проводятся. Он, дескать, неоднократно напоминал пассажирам, но его намеки действия не возымели. Я поинтересовался, не говорил ли он с мистером Тальботом, но услыхал в ответ, что мистер Тальбот сильно занят собственными делами. Однако по его, Саммерса, мнению, в следующее воскресенье можно было бы провести малое собрание. И тут я заметил, что вещаю через дверь с несвойственною мне страстью:

— Наш корабль — корабль безбожников!

Мистер Саммерс не отвечал, и я продолжил:

— Это все влияние известной особы!

Тут мистер Саммерс как будто затоптался на месте, словно озираясь. Затем прошептал:

— Прошу вас, мистер Колли, не нужно вынашивать подобные мысли! Небольшое собрание, сэр, — гимн или два, молитва и благословение…

Я не упустил случая заметить, что утренняя служба на шкафуте была бы куда уместнее, однако лейтенант Саммерс с долей, как мне показалось, раздражения заявил, что такому все

равно не бывать. Затем он ушел. И все же то была маленькая победа веры. …Когда-то еще дрогнет высеченное из кремня сердце, которому рано или поздно суждено дрогнуть?

Я узнал имя моего Героя. Это некий Билли Роджерс, боюсь, настоящий негодник; его ребяческой души еще не коснулась Благодать. Я постараюсь найти возможность с ним побеседовать.

Целый час я потратил на бритье! Бриться и вправду оказалось больно, и притом не могу сказать, что результат оправдывает затраченные усилия. Однако дело сделано.

Я услыхал какой-то непривычный шум и вышел в коридор. Палуба у меня под ногами накренилась — едва-едва. Но увы! Несколько дней почти полной нашей неподвижности сделали меня непригодным к ходьбе. Я утратил ловкость бывалого моряка, которую, как мне казалось, успел приобрести. Пришлось спешно ретироваться в каюту и улечься в койку. Там я устроился поудобнее и почувствовал, что нас несет ветер — попутный, легкий и приятный. Мы снова плывем, и, хотя не могу пока полагаться на свои ноги, я почувствовал некий подъем духа, подъем, который, наверное, испытывает всякий путешественник, когда, преодолев какие-то препоны, он

вдруг понимает, что опять движется к цели.

Проведенная мною черта означает целый день отдыха от писания. Я ходил, прогуливался, стараясь, правда, держаться подальше от пассажиров и матросов. Мне нужно снова познакомиться с ними, постепенно; пусть они привыкнут видеть не шута с непокрытой головой, а служителя Господа.

Матросы вовсю трудятся — одни тянут веревки, другие травят, то есть ослабляют, — и куда веселей и старательней, чем обыкновенно. Звук нашего движения по воде слышен гораздо лучше! Даже я, человек сухопутный — каковым и останусь, — почувствовал у нашего корабля некую легкость, словно это не сооружение из дерева, а существо, которое разделяет всеобщее веселье. Да еще всюду по ветвям его карабкаются вверх-вниз матросы. Под ветвями я подразумеваю обширное хозяйство, благодаря коему все ветры небесные и несут нас к желанной гавани. Мы следуем к югу, неизменно к югу; слева от нас лежит континент Африка, но на огромнейшем расстоянии.

Матросы увеличили площадь парусов, добавив несколько рей (на вид — простые шесты!) с более легкой тканью к обычному нашему вооружению. (Заметь, каких успехов я достиг в изучении языка

мореплавателей, внимательно прислушиваясь к разговорам окружающих.)

Дополнительные паруса увеличивают скорость корабля, и я только что слышал, как один юный джентльмен крикнул другому (грубые излишества я опущу): «Наша-то старушка юбки задрала и шпарит так, что любо-дорого!». Юбками, вероятно, у моряков называются дополнительные паруса; ты и представить не можешь, сколь неподходящие названия матросы и даже офицеры дают различным принадлежностям судового снаряжения. Моряки употребляют их и в присутствии священника, и дам, словно бы совершенно не осознавая, какие вещи они говорят.

И снова я берусь за перо только через день. Ветер стих, и вместе с ним прошло мое легкое недомогание. Я оделся и еще раз побрился и отправился ненадолго на шкафут.

Наверное, мне следует объяснить мое особенное положение по сравнению с остальными джентльменами, не говоря уж о дамах. С тех пор как капитан подверг меня публичному унижению, я постоянно ощущаю, что среди прочих пассажиров стою как бы особняком. Не знаю, как описать это, ибо само суждение мое о том, как относятся ко мне другие, меняется день ото дня,

даже час от часу! Кабы не мой слуга Филлипс и старший офицер Саммерс, мне не нашлось бы с кем поговорить. Бедный мистер Тальбот то ли хворает, то ли неуклонно скатывается к кризису веры, в каковом случае мой долг и истинное удовольствие помочь ему; однако он меня чуждается. Он не станет перекладывать на других свои невзгоды! Что касается прочих пассажиров и офицеров, то они под воздействием, как я порой подозреваю, примера капитана, относятся ко мне и моему сану священника с каким-то легкомысленным безразличием. А иногда мне сдается, что проявлять ко мне внимание им мешает некая своего рода деликатность, которую не всегда встретишь среди наших соотечественников. Вероятно — всего лишь вероятно, — они просто не хотят мне докучать и предпочитают делать вид, будто им ничего не известно! От наших дам я, разумеется, первого шага не жду, и такой почин счел бы с их стороны неуместным. Из-за всего этого — поскольку я ограничил свои прогулки территорией, которую в шутку прозвал моими владениями, — я оказался в одиночестве, отчего страдаю куда сильнее, чем предполагал. Но все переменится! Я решился: если безразличие или же деликатность не дает им со мной заговорить,

мне следует проявить отвагу и самому сделать первый шаг!

Я опять ходил на шкафут. Дамы и джентльмены, то есть те из них, кто не сидел в каютах, прогуливались по шканцам, к коим мне приближаться не следует. Я кланялся им издалека, пытаясь показать, что не отказался бы поговорить, но из-за большого расстояния они меня не замечали. Да, все дело, видимо, в скверном освещении и большом расстоянии. Иных причин быть не может!

Корабль недвижен, паруса обвисли и сморщились, словно щеки старца. Перестав обозревать странное шествие гуляющих по палубе — здесь, среди вод, все кажется странным, — я повернулся к передней части корабля и узрел кое — что новое и необычное. Перед полубаком — если смотреть как я, стоя под ведущей на шканцы лестницей, — матросы укрепляли нечто, принятое мной сперва за навес, предназначенный для защиты от солнца. Но солнце стоит низко; и потом, весь скот уже съели, загородки разобрали, так что закрывать этому навесу нечего. Кроме того, ткань казалась мне излишне плотной для такой цели. Навес растянули на высоте фальшборта, к которому его и прикрепили с помощью канатов. Моряки

называют такую ткань парусиной.

Написав предыдущие слова, я облачился в парик и сюртук (отныне меня не увидят одетым не должным образом) и опять отправился на шкафут. Из всех странностей этого места на краю света перемена, случившаяся на нашем корабле, — самая странная. Везде царит тишина, нарушаемая иногда взрывами смеха. Матросы, в настроении самом приподнятом, опускают в море ведра на веревках, пропущенных через лебедки или, как их тут называют, блоки. Они черпают морскую воду, которая, боюсь, изрядно нечиста, ибо мы уже не один час как стоим на месте, и выливают в парусину, успевшую провиснуть в середине под ее тяжестью. Не вижу, каким образом сие сооружение может ускорить ход нашего корабля, тем более что кое-кто из матросов (в их числе, увы, и мой Герой) успели, так сказать, справить малую нужду в это скорее вместилище, а никакой не навес. И ради того подобные приготовления — на корабле, посреди океана! — в то время как на суше мы обходимся меньшим! Зрелище меня отвратило, и я отправился в каюту, но тут вдруг произошло нечто, меня удивившее. Ко мне поспешно приблизился Филлипс и только хотел было заговорить, как из менее освещенной

части коридора кто-то окликнул его, а точнее, рявкнул:

— Филлипс, молчать, собака!

Слуга повернулся в темноту; оттуда возник не кто иной, как мистер Камбершам, и злобно на него уставился. Филлипс ретировался. Камбершам уставился уже на меня. Этот человек мне не нравился — и не нравится. Он — второй Андерсон, или же станет таковым, коли дослужится до капитана! Я поспешно вошел к себе. Затем снял парик, сюртук и ленты и приготовился к молитве. Едва я успел начать, как в дверь кто-то тихонько постучал. Я открыл и опять увидел Филлипса. Он зашептал:

— Мистер Колли, прошу вас не…

— Филлипс, ах ты, собака! Убирайся, не то прикажу тебе хорошенько всыпать.

Я изумленно огляделся. Снова появился Камбершам и с ним — Деверель. Камбершама я вначале узнал только по голосу, а Девереля — по изящному силуэту; оба они были без шляп и камзолов. Узрев меня в таком виде, в каком я пообещал себе никому не показываться, они разразились смехом. Их хохот показался мне каким-то безумным. Лейтенанты были слегка навеселе. Они что-то прятали за спинами, а когда я шагнул к

себе в каюту, поклонились мне с удивительной вежливостью, думаю, неискренней. Но ведь Деверель — джентльмен! Не может же он замышлять против меня скверное!

На корабле стоит необычайная тишина. Несколько минут назад я слышал поспешные шаги — последние пассажиры шли по коридору, поднимались по лестнице и проходили у меня над головой. Да, никаких сомнений — они собираются на шканцах. И только мне нет места там, где все!

Я снова выходил — крался тайком по полуосвещенному коридору, — хоть и дал себе слово относительно своего облачения! В коридоре было тихо, лишь из каюты мистера Тальбота раздавался неразборчивый лепет. Мне страстно хотелось пойти к нему и просить у него защиты, но я знал, что он молится. Я потихоньку вышел из коридора на шкафут.

Застыв на месте, наблюдал я зрелище, которое останется в моей памяти до самого смертного часа. Нашу часть корабля — две кормовые надстройки — заполнили пассажиры и офицеры; все стояли молча, воззрившись куда-то поверх моей головы. И было на что воззриться! Никогда еще не видал я столь удивительной картины! Ни пером,

ни кистью — даже кистью величайшего мастера — не передать ее хотя бы отчасти! Огромный наш корабль по-прежнему стоял недвижно, паруса его обвисли. Справа от нас садилось в океан красное солнце, слева, как раз напротив него, поднималась полная луна. Громадные светила, казалось, любовались одно другим и смягчали свет друг друга. Подобного зрелища никогда не увидать на суше — там мешают горы, или деревья, или дома. А с нашего застывшего на месте корабля мир просматривается до самых краев. Над нами словно повисли весы Господни! Но вот чаша с солнцем перевесила, ушла за горизонт, двойной свет исчез, и под луной все предстало будто вырезанным из слоновой кости и черного дерева…

Матросы засуетились, принялись развешивать на мачтах дюжины фонарей, и я разглядел, что перед провисшим парусиновым «брюхом» воздвигли подобие кресла, напоминающего епископскую кафедру. Я начал понимать. Я вострепетал. Я — один! Да, на этом огромном корабле, среди множества живых душ, я оказался один — один, в месте, где устрашился вдруг правосудия Божьего, не смягченного Его Милостью. Я вдруг убоялся и Бога, и человека! На заплетающихся ногах я бросился в каюту и попытался

молиться.

* * *

На следующий день.

Я едва могу удержать перо. Но я должен сохранять спокойствие — и буду. Ведь человека бесчестят лишь собственные поступки, не поступки других.[43] И как бы ни жег меня стыд, это не я, а другие поступили позорно!

Я закончил возносить молитвы, но пребывал в состоянии душевного уныния. Я успел снять все, кроме сорочки, когда раздались громовые удары в дверь. А я и так уже был напуган, если не сказать больше. Страшные удары довершили мое замешательство. До того я думал об отвратительных обрядах, коих мог стать жертвой, а тут решил, что произошло кораблекрушение, или пожар, или столкновение с врагом. Я буквально завопил:

— Что такое?! Что такое?!

Раздался голос столь же громкий, как и стук:

— Отвори дверь!

Я поспешно, даже панически, отвечал:

— Нет-нет, я не одет, в чем дело?

После короткой паузы чудовищный голос провыл:

---

[43] Примечания: 43

«Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека» (Марк., 7:15).

— Роберт Джеймс Колли, тебя зовут на суд!

Эти слова, невероятные и страшные, повергли меня в полное смятение. Хотя я и понимал, что голос принадлежит человеку, сердце у меня сжалось, и я так и впился пальцами себе в бок; теперь у меня на ребрах синяки и кровь.

В ответ на дикое требование я выкрикнул:

— Нет-нет, я не готов… то есть я не одет.

Тогда тот же нечеловеческий голос с еще более ужасными завываниями произнес:

— Роберт Джеймс Колли, ты должен явиться перед престолом!

От этих слов — где-то в глубине души я понимал, что надо мной просто издеваются, — у меня перехватило дыхание. Я кинулся к двери, собираясь заложить засов, но тут она распахнулась. На меня надвинулись две огромные фигуры, какие могут привидеться разве что в кошмарах — огромные глаза, огромные черные пасти с множеством торчащих клыков. На голову мне набросили какое-то тряпье. Страшная сила повлекла меня прочь; я лишь иногда касался ногами палубы. Да, я не из тех, кто быстро соображает и действует решительно. Несколько мгновений я ровным счетом ничего не понимал и пришел в себя от визга, воплей и совершенно безумного смеха. Когда

меня, туго спеленатого, куда-то волокли, жалкие остатки рассудка заставили меня крикнуть: «Помогите! Помогите!» и воззвать к Спасителю.

Тряпку у меня с головы сорвали, и при свете фонарей я ясно — слишком даже! — увидел происходящее. На палубе толпились матросы и стояли в ряд фигуры столь же кошмарные, как и те, что меня приволокли. У сидевшего на престоле была борода и огненная корона, в правой руке он сжимал большой трезубец. Повернув голову, я разглядел, что кормовая часть корабля — мои законные владения! — тоже заполнена зрителями. Шканцы освещало лишь несколько фонарей; видел я плохо и даже не успел найти глазами хоть кого-нибудь мне сочувствующего. Я полностью был в руках моих захватчиков. Теперь я осознал и мое положение, и всю жестокость вершимой надо мной шутки. Мой страх отчасти вытеснен был стыдом, ведь я предстал перед благородными дамами и джентльменами полураздетый, если не сказать хуже, — и это после того, как решил никогда не появляться на людях иначе как в облачении служителя Церкви! Я пытался попросить, чтоб меня чем — нибудь прикрыли — с улыбкой, как если бы я смирился и принимаю участие в шутке, но все происходило слишком быстро. Едва

я перевел дух, как толчками и тычками меня заставили опуститься на колени перед «троном», и у меня опять перехватило дыхание. Прежде чем я успел заговорить, прогремел вопрос, столь непристойный, что я не желаю и вспоминать его, не то что записывать. Я открыл рот, собираясь выразить протест, но мне тут же сунули в него какую — то тошнотворную дрянь; при одном воспоминании меня одолевает дурнота. Они проделали так несколько раз — не знаю, сколько именно, а когда я перестал открывать рот, этой дрянью вымазали мне лицо. Вопросы, следовавшие один за другим, были такого свойства, что я не могу записать ни один из них. Изобрести их могла только самая развращенная душа. Однако каждый из них встречали взрывом одобрительного смеха; то и дело раздавался боевой клич, коим британцы обычно пугают врага, и тут мне открылась, меня поразила ужасная правда: враг — я!

Нет, это просто невозможно! Они, конечно же, разгорячены дьявольским зельем, они — заблудшие души, но ведь такое — невозможно! И все же при всей нелепости, а для меня и ужасе положения, лишь одна мысль леденила мне кровь: я — враг!

Вот до чего могут дойти простые люди, следуя за тем, кто должен бы давать им добрый пример. Тут предводитель веселящихся вновь удостоил меня вниманием:

— Ты гадкий, грязный негодяй, и тебя нужно отмыть!

Опять боль и тошнота, опять у меня перехватило дыхание; я отчаянно боялся, что умру прямо там, на месте — жертва их жестокой забавы. Как раз, когда я ожидал конца, меня с яростной силой толкнули, и я полетел спиной прямо в парусину с вонючей водою. Дальнейшее оказалось еще более странным и страшным. Ведь я не причинил им зла, и они уже наглумились надо мной вдосталь, насмеялись, как хотели.

И все же всякий раз, когда я пытался выбраться из грязной, склизкой парусины, я слышал то, что, должно быть, слышали в последний миг своей жизни несчастные жертвы якобинского террора… такое даже хуже смерти… ничто, ничто из того, что может сделать один человек другому, не сравнится с этим рвением унижать — гнусным, сладострастным, неизбывным…

Я уже оставил надежду и готовился к смерти — как говорится в пословице, меж седлом и землей, — и тут услыхал крики со шканцев и затем

страшный грохот. Потом наступила относительная тишина, и чей-то голос выкрикнул какое-то приказание. Те же самые руки, что заталкивали меня в лужу, теперь подняли меня и вытащили на палубу. Я упал и так и лежал. Потом пополз, оставляя за собой вонючий грязный след. Но тут опять прогремел какой-то приказ. Меня подняли и отнесли в каюту. Кто-то закрыл дверь. Позже — не знаю, сколько прошло времени, — дверь отворилась и какая-то христианская душа поставила рядом с койкой ведро горячей воды. Наверное, то был Филлипс, не знаю. Не стану описывать ухищрений, с помощью которых смог более или менее отмыться. Я слышал, как там, вдалеке, те дьяволы — нет, не стану так их называть, — люди в носовой части корабля возобновили забаву с другими жертвами. Но теперь вопли раздавались скорее веселые, чем злобные. Вот еще горькая пилюля! Думаю, вряд ли на любом другом корабле найдется «пастырь для потехи». Нет — нет, я не ожесточусь, я прощу их. Они — братья мои, пусть даже они этого не понимают… пусть и сам я этого не понимаю! Что до благородных господ — тоже не стану ожесточаться, ведь один из них, может, мистер Саммерс, а может, мистер Тальбот, вмешался и хотя и слишком поздно, но положил

конец бесчеловечной забаве.

Обессиленный, я впал в забытье… Увы, для того лишь, чтоб мучиться кошмарами о Страшном суде и преисподней. Впрочем, они заставили меня, хвала Господу, проснуться, иначе я повредился бы рассудком.

И я стал молиться и молился долго. Помолившись и должным образом собравшись с мыслями, я начал размышлять.

Кажется, я отчасти пришел в себя. Я смотрю на то, что произошло, совершенно непредвзято. «То, что произошло» — сколько жизнестойкости в этих словах!

Мне следует проложить через, скажем так, заросли моих чувств — ужас, отвращение, негодование — верную тропу, то есть составить трезвое обо всем суждение. Я — отчасти жертва неприязни, которую капитан Андерсон выказывал по отношению ко мне с самой первой встречи. Разыгранное вчера представление не могло состояться без его одобрения или хотя бы молчаливого согласия. Деверель и Камбершам — лишь приспешники капитана. Теперь мне ясно: я счел себя опозоренным без всяких на то причин, если не принимать во внимание моей оскорбленной стыдливости, и это указывает на мою неспособ-

ность быстро проникать в суть происходящего… Но нет, что бы я ни говорил, думаю-то я иначе — и я уже молил Спасителя меня за то простить, — меня все же слишком волнует мнение обо мне благородной публики…

Конечно, я в большей степени стал жертвой греха, чем согрешил сам, однако же следует прежде всего блюсти чистоту дома своего, а еще снова и снова учиться — и конца нет этому уроку! — учиться прощать. Что, спрашиваю я себя, обещано слугам Господа в сем мире? А коль так, пусть моим уделом станут гонения. Я ведь не одинок.

И я вновь молился — с большим пылом — и поднялся с колен человеком, как я убежден, более добродетельным и смиренным. Пережитый мной позор я почитаю не чем иным, как указанием подставить другую щеку. Но остается еще и оскорбление, нанесенное через меня Тому, чье Имя слишком часто бывает у людей на устах, но, увы, редко в сердце. Настоящее оскорбление нанесено моему сану, и посредством этого — великому воинству, коего самым последним и ничтожным из воинов я являюсь. Оскорблен Сам Господь, и хотя он и может простить, и, несомненно, простит, мой долг — отчитать виновных,

а не смириться молча с поношением!

Не ради нас, Господи, но ради Тебя!

После того, как я это написал, я опять уснул, теперь уже спокойным сном, а когда проснулся, корабль легко бежал, подгоняемый несильным ветерком. Воздух стал прохладнее.

Вспомнив события вчерашнего вечера, я вздрогнул от ужаса, который с трудом преодолел. Затем я вновь ощутил сильнейший внутренний импульс, данный мне вчерашней моей молитвою, и встал, точнее, вскочил с койки — с радостью, ибо обрел еще большую уверенность в великой истинности Христианского вероучения! И молился я, можешь поверить, куда долее обычного.

Поднявшись с колен, я промочил горло, а потом сел и приступил к тщательному бритью. Сейчас моим волосам не помешала бы твоя забота. (Но тебе никогда этого не прочесть! Положение становится все более странным; по-видимому, рано или поздно придется подвергнуть написанное цензуре!) С не меньшим тщанием я облачился в парик, шляпу, надел ленты. Я велел слуге проводить меня туда, где хранится мой сундук, и после некоторых пререканий меня пустили в темные недра нашего корабля. Я отыскал ризу и капюшон, достал подписанное епископом разрешение

проповедовать и положил его в карман сюртука. Теперь-то, когда у меня есть все священные атрибуты, я смело могу встретиться с кем угодно на корабле и ничего не опасаться… как ты знаешь, я когда-то разговаривал с разбойником с большой дороги! Твердым шагом я поднялся на шканцы и на возвышение в задней, или кормовой части этой палубы, где обычно обретается капитан Андерсон. Я стоял и озирался. В правый борт дул свежий ветерок. Капитан Андерсон прохаживался взад-вперед. Мистер Тальбот с еще одним или двумя джентльменами стоял у поручней; он прикоснулся к шляпе и двинулся вперед. Увидев его намерение по-дружески меня приветствовать, я возрадовался, но на этот раз просто поклонился и прошел мимо. Я пересек палубу, встал на дороге у капитана Андерсона и снял шляпу. На сей раз он сквозь меня не прошел. Он замер, уставился на меня, открыл рот, потом закрыл.

Далее произошел следующий разговор.

— Капитан Андерсон, я хочу с вами поговорить.

Он чуть помедлил.

— Да, сэр. Прошу вас.

Спокойно и размеренно я продолжил:

— Капитан Андерсон, ваши люди вели себя

неподобающим образом. И вы сами вели себя неподобающим образом.

У него на лице вспыхнул и пропал румянец.

— Мне это известно, мистер Колли.

— Стало быть, сэр, вы признаете?

Он пробормотал:

— Ничего худого не замышлялось, просто дело зашло слишком далеко. С вами скверно обошлись, сэр.

Я невозмутимо отвечал:

— Капитан Андерсон, коль скоро вы признаете свою вину, я от души вас прощаю. Но в этом деле участвовали — и я не без оснований предполагаю, что действовали они пусть не по вашему приказу, но вдохновленные вашим ко мне отношением, — участвовали не только простые матросы, но и офицеры. Именно они нанесли моему сану неслыханное оскорбление! Я узнал их, несмотря на маскарад. Не ради меня, но ради себя самих они должны признать свою вину.

Капитан Андерсон быстро зашагал взад-вперед по палубе. Потом он встал передо мной, сложив руки на груди. К моему изумлению, он смотрел на меня не просто красный от гнева, он побагровел от злобы! Ну разве не удивительно? Собственную вину Андерсон признал, а вот упоминание

об офицерах повергло капитана в его обычную ярость. Он злобно бросил:

— Что ж, будь по-вашему.

— Я защищаю честь своего Господа, как вы защищали бы честь короля.

Некоторое время мы молчали.

Ударили в колокол, новые вахтенные сменили прежних. На место мистера Смайлса и юного мистера Тейлора заступили мистер Саммерс и юный мистер Виллис. Все это происходило, как всегда, торжественно. Потом капитан Андерсон опять обратился ко мне:

— Я поговорю с теми из офицеров, кто был замешан. Вы удовлетворены?

— Пусть они придут ко мне, сэр, и я прощу их точно так же, как простил вас. Но есть еще кое-что…

Здесь капитан, вынужден я упомянуть, пробормотал проклятие самого нечестивого свойства. Однако я, проявив змеиную хитрость и голубиную кротость, будто бы ничего не заметил! Не такая была минута, чтоб порицать морского офицера за сквернословие. Для этого, сказал я себе, еще будет время!

Я продолжил:

— В передней части нашего корабля находятся

бедные, невежественные люди. Я должен пойти к ним и привести к покаянию.

— Да вы спятили?

— Вовсе нет, сэр.

— Неужто вам все равно, что над вами могут еще и не так наглумиться?

— У вас свой мундир, капитан Андерсон, у меня — свой. Я пойду к ним со всеми атрибутами служителя Церкви!

— Мундир!

— Вы не понимаете, сэр? Я пойду к ним в том облачении, право на которое мне дали годы учебы и мой сан. Здесь я его не ношу. Вы знаете, что я собой представляю.

— Разумеется, сэр.

— Благодарю вас. Значит, вы позволяете мне спуститься и говорить с матросами?

Капитан Андерсон прошелся к борту, откашлялся и сплюнул в море. Не поворачиваясь, он буркнул:

— Поступайте, как знаете.

Я отвесил его спине поклон и удалился. Когда я дошел до первой лестницы, лейтенант Саммерс взял меня за локоть.

— Мистер Колли!

— Да, друг мой?

— Мистер Колли, прошу вас, подумайте, что вы делаете! — Он перешел на шепот. — Не разряди я в воздух мушкет мистера Преттимена, тем самым их напугав, неизвестно, как далеко зашла бы вся история. Прошу вас, сэр, позвольте мне собрать людей под присмотром офицеров. Среди матросов есть совсем отчаянные. Один переселенец…

— Оставьте, мистер Саммерс. Я спущусь к ним в облачении, в котором мог бы проводить службу. Они отнесутся к нему с должным почтением.

— Дождитесь, по крайней мере, пока им выдадут ром. Сэр, поверьте, я знаю о чем говорю. Они будут настроены более дружелюбно, будут спокойнее и более восприимчивы к вашим словам. Прошу вас, сэр! Иначе вас ожидает безразличие, или оскорбления, или вообще невесть что.

— И мои слова пропадут даром, то есть, по-вашему, я упущу возможность?

— Именно, сэр.

Я поразмыслил.

— Хорошо, мистер Саммерс. Пойду туда ближе к полудню. А покамест мне нужно кое-что записать.

Я поклонился ему и двинулся дальше. Мистер Тальбот снова шагнул мне навстречу. В самой приятной манере он предложил мне вступить

в более дружеские отношения. Этот молодой человек делает честь своему сословию. Если бы подобные ему пользовались всеми привилегиями, — а вполне вероятно, что некогда в будущем… но я продолжаю.

Едва я уселся в каюте за пюпитр, как раздался стук в дверь. То были два лейтенанта — мистер Деверель и мистер Камбершам, два вчерашних дьявола! Я взглянул на них со всей возможной суровостью, ибо они заслужили, чтобы перед тем как простить, их хорошенько отчитали. Мистер Камбершам хранил молчание, зато мистер Деверель говорил без умолку. Он прямо сознался, что вел себя не как должно и притом был вчера слегка навеселе, равно как и его спутник. Он, дескать, не думал, что я приму случившееся столь близко к сердцу, а матросы, мол, привыкли таким образом отмечать пересечение экватора, и он сожалеет, что они неверно поняли дозволение капитана веселиться. Под конец Деверель попросил считать произошедшее не более чем шуткой, зашедшей чересчур далеко. Будь на мне то же самое облачение, в каком я появился сегодня, никто бы ничего и не посмел, и вообще д…л их забери, если кто-то замышлял худое, и теперь оба выражают надежду, что я предам все забвению.

Я чуть помедлил, словно в раздумье, хотя ответ уже приготовил. Не виниться же было в том, что я появился на публике в наряде более чем неподходящем. К тому ж предо мной стояли люди, кои привыкли чтить в первую голову именно мундир — как на себе, так и на вышестоящих.

Наконец я заговорил:

— От души прощаю вас, джентльмены, как и велено мне свыше. Идите и впредь не грешите.

Я закрыл дверь каюты. За ней послышался тихий долгий свист — кажется, Девереля. Шаги стали удаляться, и тут впервые подал голос мистер Камбершам:

— Кем это, ч…т побери, ему велено свыше? А вдруг он накоротке с главным капелланом флота?

И они ушли. Признаюсь, впервые за много дней я обрел мир. Теперь все будет хорошо. Мало-помалу я смогу приступить к своим обязанностям — и не только среди простого люда, но, попозже, и среди офицеров и знати, людей, которые не должны и не могут быть столь равнодушны к слову Божьему, как порой кажется на первый взгляд. Даже сам капитан несколько переменился, а сила Благодати Божьей безгранична. Прежде чем надеть облачение священника, я вышел на шкафут

и встал там, чувствуя, наконец-то, что свободен — капитан, конечно же, отменит свои суровые указания, ограничивающие мои передвижения по судну! Я смотрел в воду: голубую, зеленую, фиолетовую, любовался белоснежной легкой пеной. С непривычным чувством уверенности глядел я на длинные зеленые водоросли, извивавшиеся под водой у бортов нашего корабля. Ряды надутых парусов казались мне необычно яркими… Пора пришла! Должным образом подготовившись, я двинусь вперед, дабы хорошенько отчитать этих норовистых, но любимых чад нашего Господа. Я почувствовал — и чувствую до сих пор, — как меня охватывает великая любовь ко всему — к морю, кораблю, небу, к знатным и простым людям и, конечно, больше всего — к нашему Спасителю. Вот оно — счастливое завершение тягот моих и страданий. Да восславит все и вся Его имя!

* * *

Как видите, ваша светлость, больше Колли ничего не написал. Да и что бы он мог написать — после смерти? Единственное, что служит мне утешением во всей этой истории — я могу быть уверен, что несчастная сестра погибшего никогда не обнаружит правды. Пусть пьяный Брокльбанк сколько угодно орет из своей каюты: «Кто при-

кончил старину Колли?», она никогда не узнает, что убило ее брата, кто — считая и меня! — подтолкнул его к могиле.

Когда Виллер пробудил меня от короткого и чересчур беспокойного сна, оказалось, что первая половина утра будет посвящена расследованию. Мне предлагалось снова встретиться с капитаном и Саммерсом. На мои возражения о том, что в этих жарких широтах необходимо прежде всего захоронить тело, Виллер ничего не ответил. Совершенно ясно, что капитан хочет прикрыть свою, а, точнее сказать, нашу общую травлю священника личиной положенных случаю процедур! Мы засели за столом в капитанской каюте и перед нами, один за другим, пошли свидетели. Слуга Колли рассказал лишь то, что мы и так уже знали. Юный мистер Тейлор, едва ли удрученный смертью пастора, зато испытывающий священный трепет при виде капитана, повторил, что видел мистера Колли, который согласился вкусить рому во славу чего-то там, мистер Тейлор не помнит, чего именно. Когда я высказал догадку, что забытым словом было «примирение», он охотно со мной согласился. А что мистер Тейлор вообще делал в кубрике? (Вопрос от мистера Саммерса.) Мистер Тейлор осматривал запас троса,

потому как у станового якоря трос совсем истерся. Эти непонятные, хоть и красивые, слова вполне удовлетворили господ моряков, которые согласно закивали, словно бы юный гардемарин говорил на простом английском. В таком случае, для чего мистер Тейлор ушел так далеко от кладовой для якорных тросов? Мистер Тейлор все осмотрел, пришел в кубрик отрапортовать об увиденном и задержался на минутку посмотреть — никогда не встречал пасторов в таком виде. А потом? (спросил капитан). Потом мистер Тейлор «побежал на корму, сэр, чтобы все рассказать мистеру Саммерсу, но мистер Камбершам меня поймал и дал прикурить».

Капитан кивнул, и мистер Тейлор с облегчением ретировался. Я повернулся к Саммерсу.

— Прикурить, Саммерс? Зачем приучать мальчишку к табаку?

Капитан поморщился.

— Это фигура речи, сэр. Ему просто влетело. Следующий.

Следующим свидетелем оказался мистер Ист, один из наиболее уважаемых эмигрантов, муж той самой бедняжки, лицо которой так тронуло меня во время проповеди. Да, он умеет писать и читать. Да, он видел мистера Колли и смог бы

узнать его при встрече. Нет, во время «чертовой купели» он пастора не наблюдал, только слышал рассказы. Возможно, мы знаем, как плохо себя чувствует миссис Ист, почти все время мистер Ист сидит около нее попеременно с миссис Поработли, которая сама вот-вот родит. Так что он только мельком видел мистера Колли в толпе моряков, но не думает, что тот успел многое им сказать прежде, чем разделил с ними чашу. Аплодисменты и хохот, что мы слыхали? А это после каких-то слов, что пастор сказал матросам. Недовольство и ругань? Нет, про них он ничего не знает. Знает только, что моряки забрали преподобного с собой, внутрь — туда, где юный джентльмен разбирался с тросами. Сам мистер Ист ухаживал за женой и больше ничего не видел и не слышал. Надеется, мы не сочтем за оскорбление слова о том, что больше нам никто ничего не скажет, за исключением разве что матросов, которые тогда увели Колли.

Мистера Иста отпустили. Я высказал предположение, что единственный, кто мог бы пролить свет на всю эту историю — человек, который привел или, точнее, притащил пастора обратно, когда тот уже ничего не соображал. Он может знать, сколько выпил Колли, кто предлагал ему

спиртное, а возможно, и заставлял его пить! Капитан Андерсон согласился со мной, добавил, что он немедленно пошлет за этим матросом, и прошипел, сильно понизив голос:

— Мой источник сообщает, что на этого свидетеля придется серьезно надавить.

Я почувствовал, что пришел мой черед, собрал все свое мужество и заговорил:

— Мне кажется, мы занимаемся тем, что на вашем жаргоне, господа, называется «мутить воду». Всем понятно, что Колли просто-напросто напоили. К сожалению, теперь, по горькому опыту, мы знаем, что существуют люди, чья скромность и робость таковы, что чужая злоба может на самом деле довести их до смерти, а совесть настолько болезненна, что не может выдержать того, что мистер Брокльбанк назвал бы «мелким грешком». Полно, господа! Не пора ли откровенно признать: да, пастора убила его собственная невоздержанность, но породило ее наше общее безразличие к его судьбе.

Смело, не правда ли? Высказать тирану в лицо, что мы с ним… Но капитан недоуменно уставился на меня.

— Безразличие?

— Невоздержанность, сэр, — быстро произнес

Саммерс. — Давайте на этом и порешим.

— Минутку, Саммерс. Мистер Тальбот! При чем тут «наше общее безразличие»? Вы действительно ничего не понимаете? Неужели вам кажется, что заурядная выпивка…

— Так вы ведь сами вчера сказали: давайте спишем все на нервное истощение!

— Вот именно — вчера! Послушайте, сэр, всем давно уже ясно, что напившийся до одури пастор стал жертвой издевательств одного или бог знает скольких людей, и именно это страшное унижение его и убило!

— Боже милосердный!

Я вдруг резко осознал, что же на самом деле случилось.

На некоторое время меня покинули мысли, все до единой; я просто сидел и слушал капитана.

— Нет уж, мистер Саммерс, выкладывайте все начистоту. Я не потерплю легкомысленных намеков на то, что не справляюсь с экипажем или груб с пассажирами.

Лицо Саммерса пылало.

— Я просто предложил, сэр. Простите, если вышел за рамки своих обязанностей.

— Извинения приняты, мистер Саммерс. Продолжим.

— А как? В таком ведь никто не признается! — наконец опомнился я.

— Вы еще слишком молоды, мистер Тальбот, и не имеете понятия о том, какие источники сведений могут существовать на кораблях, подобных нашему, пусть ему и недолго осталось плавать.

— Источники? Вы имеете в виду — осведомители?

— Я имею в виду, что пора продолжать, — рассвирепел капитан. — Пусть войдет.

Саммерс самолично привел Роджерса. Им оказался тот самый матрос, что доставил Колли обратно на корму, красавец — каких поискать. Обнаженный по пояс, он мог бы послужить моделью для Микеланджело, хотя со временем такие молодчики частенько становятся чересчур грузными. И лицо его, и шея, и грудь отливали бронзовым загаром, разве что шрамы на щеке белели.

— Саммерс сказал мне, что у вас есть некоторый опыт в ведении перекрестного допроса.

— У кого? У меня?

Как видите, ваша светлость, во время расследования я показал себя не лучшим образом. Капитан ободряюще улыбнулся.

— Свидетель, сэр.

Нет, так мы не договаривались. Но делать было нечего.

— Итак, любезнейший, как ваше имя?

— Билли Роджерс, милорд. Марсовый матрос.

Я не стал спорить с титулом, которым он меня наградил. Возможно, это добрый знак!

— У нас к вам несколько вопросов, Роджерс. Расскажите в мельчайших подробностях, что случилось с пассажиром, который ушел с вами в кубрик.

— Каким пассажиром, милорд?

— Пастором. Преподобным мистером Колли, ныне покойным.

Роджерс стоял против огромного окна, и я невольно подумал, что никогда еще не видел такого честного, открытого лица.

— Многовато на грудь принял, милорд. Перепил, проще говоря.

Пришло время сделать поворот оверштаг, как выражаемся мы, морские волки.

— А откуда у вас шрамы?

— Девица на память оставила, милорд.

— Надо же — просто дикая кошка!

— Вроде того, милорд.

— Но вы же своего всегда добьетесь, любой ценой?

— Как, милорд?

— Сломили ее сопротивление ради ее же собственной пользы?

— Не пойму, о чем вы, милорд. Только если б я ее не сцапал, она б усвистела как пуля с моими деньгами.

Капитан Андерсон улыбнулся мне углом рта:

— С вашего позволения, милорд…

Дьявол их всех побери! Да он надо мной издевается!

— Довольно о женщинах, Роджерс. Поговорим о мужчинах.

— Сэр!

— Над мистером Колли учинили насилие. Кто это сделал?

Лицо матроса не потеряло своей безмятежности.

— Бросьте, Роджерс. Возможно, вы удивитесь, но подозрение в особо изощренных издевательствах падает именно на вас, — поднажал капитан.

Роджерс заметно насторожился. Он пригнулся, чуть отставив одну ногу, и обвел нас враждебным взглядом, словно пытаясь прочесть по лицам, насколько серьезна капитанская угроза.

— Ничего я не знаю, капитан, сэр, ничего и

все тут!

— Возможно, вы и ни при чем, друг мой, но можете открыть нам, кто виноват.

— В чем виноват, сэр?

— В посягательстве на честь пассажира, совершенном одним или несколькими матросами, вследствие чего пассажир скончался.

— Первый раз слышу!

— Бросьте, Роджерс, — снова вступил я. — Мы же видели вас с пастором. Ввиду отсутствия других улик, ваше имя стоит первым в списке подозреваемых. Что же вы, ребята, все-таки натворили?

Ни разу в жизни я не видел столь искреннего изумления.

— А что мы натворили, милорд?

— Не сомневаюсь, что лично у вас есть свидетели, которые с удовольствием подтвердят вашу невиновность. Так помогите же нам найти преступников!

Роджерс ничего не ответил и напрягся еще сильнее. Я продолжил допрос:

— Прошу вас, любезнейший, или рассказать нам, кто это сделал, или, по крайней мере, перечислить тех, кого можно подозревать в подобной склонности.

Капитан Андерсон вздернул подбородок.

— Содомия, Роджерс, вот что мы имеем в виду. Мужеложство.

Он опустил глаза, пошуршал бумагами на столе и обмакнул перо в чернила. В кабинете по-прежнему царила тишина. В конце концов, ее нарушил сам капитан, с раздражением воскликнувший:

— Давайте, давайте, Роджерс! Не сидеть же нам тут целый день!

После недолгого молчания матрос еще раз оглядел нас, не просто поводя головой, а поворачиваясь к каждому всем телом.

— Есть, сэр.

Лицо его неуловимо изменилось. Он вздернул верхнюю губу и, словно бы в неуверенности, прикусил зубами нижнюю.

— Прикажете начать с офицеров, сэр?

Я замер, изо всех сил стараясь не смотреть в сторону капитана или Саммерса. Мимолетный взгляд, легчайший поворот головы могли быть истолкованы как тяжелейшее обвинение. Между тем в этом смысле я был совершенно уверен в них обоих. Что касается офицеров, они, без сомнения, тоже не заподозрили бы друг друга в названном грехе, однако, как и я, боялись шевельнуться. Окаменели, будто статуи. И будто статуя застыл

перед нами Роджерс.

Первым зашевелился капитан. Он отложил перо и мрачно произнес:

— Что ж, достаточно. Можете возвращаться к своим обязанностям.

Лицо матроса побелело, потом к нему вновь вернулись краски. Он глубоко, со стоном, выдохнул, отдал честь и с улыбкой вышел из каюты. Не могу сказать, сколь долго после его ухода мы просидели, не шевелясь. На мой взгляд, Роджерс совершил то, что обычно называют «дурным поступком», только вот размах этого поступка оказался таков, что вызвал ужас и отчаяние. Я изо всех сил старался ни о чем не думать, чтобы не покраснеть и не покрыться испариной. Просто сидел и ждал, что случится дальше, гоня из головы все до единой мысли. Ежели кто и должен был заговорить первым, так уж точно не я. Роджерс поймал нас в ловушку. Понятно ли вам, ваша светлость, какие ростки подозрений тут же зашевелились в моей голове при воспоминании о том или ином офицере?

Из оцепенения нас вывел Андерсон, пробормотав себе под нос:

— Свидетели, допросы, обвинения, ложь, еще ложь, суд — я имею в виду трибунал. Да малый

похоронит нас, если у него хватит на это наглости, а я не сомневаюсь, что ее хватит, потому что дело-то попахивает веревкой. От таких подозрений не отмоешься. Чем бы дело ни кончилось, все мы окажемся замараны. Итак, мистер Саммерс, расследование окончено? Есть у вас еще осведомители?

— Думаю, что нет, сэр. Так — разговоры…

— Ясно. Мистер Тальбот?

— Пытаюсь прийти в себя, сэр. Вы совершенно правы: Роджерса прижали к стенке, и он пустил в ход последнее оружие — ложные обвинения на грани шантажа.

— Кто у нас в выигрыше, — наконец-то улыбнулся Саммерс, — так это, мистер Тальбот, коего сегодня произвели в пэры!

— И тут же вернули на грешную землю. Хотя один раз меня назвал милордом сам капитан, который имеет право проводить свадьбы и похороны…

— Кстати, да. Похороны. Выпьем, господа? Кликните Хоукинса, Саммерс. Спасибо за помощь, мистер Тальбот.

— Боюсь, я оказался не слишком-то полезен.

Капитан, который стремительно приходил в себя, лишь ухмыльнулся.

— Значит, так и запишем — умер от нервного истощения. Хересу?

— Спасибо. И все-таки: почему расследование закончено? Мы ведь так и не узнали, что случилось. Нет ли у вас еще каких-нибудь источников…

— А херес-то неплох, — перебил меня капитан. — Насколько я помню, мистер Саммерс, вы в это время дня не расположены к выпивке, так что самое время заняться приготовлениями усопшего пассажира в последний путь. Ваше здоровье, мистер Тальбот. Согласитесь ли вы подписать протокол — разумеется, вместе с остальными?

— Я на корабле лицо неофициальное.

— Бросьте!

Я подумал еще немного и решил:

— Добавлю заявление от своего имени и тогда подпишу.

Капитан глянул на меня из-под насупленных бровей и молча кивнул. Я одним глотком опорожнил стакан.

— Вы упоминали о каких-то осведомителях…

— Я? Вам показалось, — прервал меня Андерсон.

— Но вы спросили мистера Саммерса…

— А он ответил, что никого нет, — громко про-

говорил капитан. — В экипаже нет ни единой крысы, мистер Тальбот! Понимаете, сэр? Никто не ходит ко мне и не доносит на своих товарищей, ни-кто! Можете идти, Хоукинс!

Я отставил стакан, слуга забрал его. Проводив его взглядом, Андерсон повернулся ко мне:

— У слуг есть уши, мистер Тальбот.

Еще бы мне не знать, сэр! Уж у моего Виллера — так точно!

— Виллер! Ну конечно. У этого и глаза, и уши не иначе как по всему телу…

— Что ж, покуда не началась печальная церемония, пойду займусь дневником.

— Ах, дневником! Что ж, не забудьте упомянуть, мистер Тальбот, что как бы там ни обстояло дело с пассажирами, матросы и офицеры нашим кораблем довольны!

* * *

В три часа дня все собрались на шкафуте. Солдаты Олдмедоу стояли в карауле с кремневыми ружьями, или как там называются их неуклюжие штуки. Сам Олдмедоу облачился в парадную форму и имел при себе клинок, равно как и морские офицеры. Даже юные гардемарины нацепили на пояса кортики, а на лица — подобающее случаю выражение. Мы, пассажиры, оделись как можно

более мрачно. Матросов выстроили по вахтам, придав им настолько приличный вид, насколько позволяло их разномастное платье. Тучный мистер Брокльбанк восстал с койки — бодрый, хоть и пожелтевший от возлияний, гораздо более обильных, чем те, что свели в могилу Колли. Хотя художник прошел через те же муки ада, что и пастор, заплатил он за них всего-навсего головной болью да расстройством желудка. И все-таки, до чего же пестрый народ меня окружает! Дамы, собираясь в плавание, несомненно, держали в голове вероятность печальных событий, ибо все, включая любовниц Брокльбанка, облачились в траур. Мистер Преттимен пришел на полную предрассудков церемонию под руку с мисс Грэнхем. Воинствующий атеизм и республиканство явно отступили перед дочерью эксетерского каноника. Глядя, как Преттимен кипит и подпрыгивает рядом с ней, я отметил для себя, что именно через мисс Грэнхем я должен передать беспокойному вольнодумцу один деликатный совет.

Вы, верно, заметили, что я несколько оправился от впечатления, произведенного на меня письмом Колли? Человек не может грустить беспрерывно, любая печаль рано или поздно уходит

в прошлое, тем более что моя невольная небрежность в отношении Колли не идет ни в какое сравнение с преднамеренными издевательствами, о которых мы узнали! Должен признать, что похороны на море — интереснейшее зрелище. Мало кому удается попасть на погребение при таких, если можно так выразиться, экзотических обстоятельствах. Мало того, что сама церемония очень необычна, так еще и присутствующие постоянно украшают ее диалогами на морском жаргоне. Знаете ведь, как он мне нравится! Вспомнить хотя бы все ту же «чертову купель». Кто-то (если не ошибаюсь — Сервий)[44] утверждал, что в «Энеиде» не меньше полудюжины загадок, которые так никто и не разгадает: не поможет ни изучение текста, ни вдохновение — ничто. Так и тут.

Приглушенно пробили склянки. Появилась группа матросов, несущих на широкой доске накрытое государственным флагом тело. Колли лежал ногами к правому — парадному! — борту, именно с него покидают корабль адмиралы, покойники и другие выдающиеся личности. Тело оказалось длиннее, чем я ожидал, но мне объяс-

[44] Примечания: 44

Гонорат, Мавр Сервий (конец IV века н. э.) — римский грамматик, автор комментариев к Вергилию.

нили, что к ногам привязали два ядра из остатков наших боеприпасов. Андерсон, сияя позолотой на парадной форме, встал около доски. Позже мне по секрету сказали, что капитан и офицеры специально отрепетировали церемонию, чтобы не опозориться на глазах у публики и, как выразился Томми Тейлор, «спустить небесного лоцмана за борт» по всем правилам.

Почти все паруса были взяты на гитовы, и мы, по определению морского словаря, легли в дрейф, то есть стояли на месте практически неподвижно. Все, кроме Колли, который неумолимо двигался к своему концу. Не успели матросы опустить доску на палубу, как я услышал, как Саммерс шепчет Деверелю:

— Говорю вам, Деверель, если не выберем бизань-шкот еще хотя бы на ладонь, нас понесет назад.

И тут из трюма раздался гулкий, ритмичный стук, словно сам Дэви Джонс, злой дух морских глубин, подавал сигнал к началу церемонии. Или просто проголодался. Деверель выкрикнул невразумительный приказ, матросы заметались по палубе, капитан, державший молитвенник так, словно это была готовая взорваться граната, повернулся к лейтенанту Саммерсу:

— Мистер Саммерс! Чего вы ждете — чтобы у нас ахтерштевень оторвало?

Саммерс ничего не ответил, но стук прекратился. Грозный рык Андерсона сменился ворчанием:

— Сыплется все подряд, как зубы у старой бабки.

— Так точно, сэр, — кивнул Саммерс. — Но пока мы дрейфуем…

— Чем скорее мы пойдем попутным ветром, тем лучше. Черт бы побрал этого пьяницу!

Капитан угрюмо посмотрел на флаг, затем на паруса, которые захлопали, будто пытаясь ему возразить. Но что они могли добавить к предыдущему диалогу? Думаю, ничего.

Андерсон перевел взгляд на собравшихся и вздрогнул, словно успел забыть о нашем существовании. Хотел бы я сказать, что «вздрогнул он, как некто виноватый при грозном оклике»,[45] но нет — капитан опомнился, как человек, страдающий легкой рассеянностью и по этой причине напрочь забывший, что у него на борту имеется мертвое тело, которое еще надо похоронить. Он открыл книгу и ворчливо предложил нам помо-

---

[45] Примечания: 45

В. Шекспир, «Гамлет», акт I, сц. 1 (пер. Т. Щепкиной-Куперник).

литься — ну и так далее. Андерсон явно хотел поскорее отделаться от всех формальностей, потому что я еще никогда в жизни не слышал, чтобы молитву читали так быстро. У дам почти не осталось времени вытащить носовые платки в знак глубокой печали, а мы, мужчины, уставились было на снятые шляпы, но вспомнив, что церемония слишком интересна, чтобы ее пропустить, тут же снова подняли глаза. Я надеялся, что солдаты Олдмедоу дадут несколько ружейных залпов, но позже он объяснил мне, что ввиду некоторых разногласий между Адмиралтейством и Военным министерством им не выдали ни кремней, ни пороху. Вместо этого они довольно стройно приняли на караул, а офицеры отсалютовали клинками. Вот интересно, насколько такая церемония подобает особе духовного звания? Я не знаю, не знали и они. Заверещала флейта, кто-то приглушенно забил в барабан — зазвучало что-то вроде музыкального пролога, или, лучше сказать, эпилога.

Видите, милорд, ваш Ричард снова стал самим собою[46] — другими словами, оправился от бесполезных, да и не очень — то заслуженных мук

---

[46] Примечания: 46
Колли Сибер (1671–1757 гг.), «Ричард III».

совести.

В конце концов — после того, как ворчливый голос капитана призвал нас вспомнить, что неподалеку то время, когда больше уж не будет никакого моря, — шестеро матросов разом засвистели в боцманские дудки. Поскольку вы, ваша светлость, вряд ли когда-либо слышали сей инструмент, довожу до вашего сведения, что мелодичности в нем не более, чем в криках кота на раскаленной крыше. И все же, все же, все же! Резкие, пронзительные звуки сливались в тоскливый стон, что, трепеща, таял в воздухе выше всех слов, философий, религий. Незатейливый голос Жизни, оплакивающей Смерть.

Едва я хотел похвалить самого себя за столь высокие чувства, как доску подняли и наклонили. Бренные останки преподобного Роберта Джеймса Колли выскользнули из — под британского флага и с громким «буль!» вошли в воду так изящно, словно он был опытным ныряльщиком, да вдобавок отрепетировал собственные похороны. Разумеется, свою роль сыграли и пушечные ядра. Если задуматься, то такое, можно сказать, косвенное применение напрямую связано с их основной задачей. Словом, Колли ушел «на дно

морской пучины, куда еще не опускался лот»[47] (если в момент совершения ритуала у вас нет под рукой молитвенника, обратитесь к Шекспиру. Остальное не подходит).

Вам может показаться, что следом наступили две-три минуты подобающей случаю тишины. Ничего подобного! Андерсон захлопнул молитвенник, дудки снова заверещали, в этот раз нетерпеливо и настойчиво. Капитан кивнул Камбершаму, который козырнул и проорал что-то, совершенно для меня невразумительное.

Судно начало послушно и неуклюже поворачивать на прежний курс. Выстроенные для церемонии матросы сбили ряды, разбежались по вантам, чтобы поднять оставшиеся паруса и добавить к ним лиселя. Капитан зашагал восвояси с гранатой… простите, молитвенником в руке. Подозреваю — пошел к себе, заполнять судовой журнал. Кто-то из гардемаринов зацарапал на вахтенной доске — в общем, все вернулось на круги своя. Я тоже вернулся в каюту — поразмышлять над заявлением, которое я пообещал приписать к капитанскому протоколу. Нет, не стоит добавлять сестре пастора лишних страда-

---

[47] Примечания: 47

В. Шекспир, «Буря», акт V, сц. 1 (пер. М. Донского).

ний. Пусть это будет нервное истощение, как и предлагал капитан. Зато он не догадывается, что я уже насыпал дорожку пороха туда, где вашей светлости останется только поднести спичку.

Господи, что за неспокойное у нас судно: рождения, смерти, зачатия, обручения и свадьбы — целый мир, а не корабль!

(&)

Не ожидали? На мой вкус, этот знак добавит дневнику некую каплю эксцентричности. Никаких дат, букв алфавита или других обозначений очередного дня плавания! По-хорошему, следовало бы обозвать данную запись приложением, но это было бы скучно — слишком скучно! Ибо мы подходим к концу и пора поставить точку. Разумеется, я помню, что обещал вести дневник до самого конца плавания, день за днем, но, оглядываясь назад, вижу, что он неожиданно превратился в письменное свидетельство одной-единственной истории — драмы Роберта Джеймса Колли. Теперь все кончено, и несчастный пастор стоит, прикованный пушечными ядрами ко дну, далеко под нами, один, по выражению мистера Кольриджа, один, всегда один. И так глубока бездна случившегося (ваша светлость наверняка оценит мой изящный каламбур или, как сказал бы сам Колли, «парономазию»), что возврат к скучному описанию ежедневной рутины кажется уже бессмысленным. Однако под плотной обложкой вашего подарка осталось

еще несколько чистых листков, и я изо всех сил старался растянуть описание похорон в надежде занять их «Рассказом о Грехопадении и Бесславной кончине Роберта Джеймса Колли» вкупе с «Кратким описанием Погребения его в Пучине Морской». Но безуспешно. Колли и жил, и умер на самом деле — и не втиснется в рамки чужого дневника, как нога не втиснется внутрь чужого башмака. Разумеется, я продолжу вести дневник, но уже в другой тетради, купленной для меня Филлипсом у баталера. Думаю, ее не придется прятать и запирать. Кстати, всеобщий страх и трепет перед баталером объяснились на редкость банально. Тайну открыл Филлипс, который вообще более откровенен, чем Виллер. Офицеры, все до единого, включая капитана, должны «бутылеру» — как зовет его Филлипс — денег!

Да, забыл написать! Пока что мне прислуживает Филлипс, потому что Виллера я не смог дозваться, сколько ни кричал. Его уже ищут.

* * *

Поправка: не ищут — искали. Только что Саммерс сообщил мне, что мой слуга испарился. По-видимому, упал за борт. В голове не укладывается — Виллер! Он исчез как бесплотный дух, вместе с облачком седых волос вкруг блестящей

лысины, с кроткой улыбкой, с невероятной осведомленностью о том, что творится на корабле, с маковой настойкой и готовностью предоставить хозяину все, что тот ни пожелает — разумеется, в том случае, если ему есть чем за это заплатить! Как выразился капитан: «и глаза, и уши не иначе как по всему телу». Я буду скучать, хотя бы потому, что от Филлипса никогда не дождаться столь же верной службы. Уже пришлось самому стягивать сапоги; слава Богу, неподалеку случился Саммерс, который был так любезен, что согласился мне помочь. Две смерти всего за несколько дней!

— По крайней мере, — многозначительно заметил я, — в этой смерти меня никто не обвинит, верно?

Лейтенант как раз переводил дыхание — видимо, потому и не смог ответить. Качнулся назад на корточках, встал и внимательно проследил, как я надеваю расшитые туфли.

— Жизнь — штука бесформенная. И зря писатели постоянно пытаются втиснуть ее в какйе-то рамки.

— Иногда они как будто бы правы, сэр. К примеру, на борту случаются не только смерти, но и рождения. Пэт Поворотли…

— Как — Поворотли? Мне казалось, ее фамилия

Поработли!

— Да какая разница! Главное, что эта самая Пэт произвела на свет девочку, названную в честь нашего судна.

— Бедное дитя! Так вот что это был за дикий рев — как в тот раз, когда Бесси сломала ногу!

— Именно, сэр. Кстати, пойду погляжу, как они там.

Ну вот и Саммерс ушел — а чистых страниц еще в достатке. Новости, я требую новостей! Какие же у нас новости? Есть у меня в запасе одна история, не про Колли, а про капитана. Хотя ее, честно говоря, надо было бы представить вам гораздо раньше — в четвертом, если не в третьем акте. А теперь она поковыляет следом за драмой — как сатирическая пьеска следом за трагической трилогией. Перед нами не столько откровение, сколько бледный свет, пролитый на давнюю загадку — ненависть капитана к духовенству! Надеюсь, вы о ней помните? А теперь узнаете и причину.

Тс-с-с, как любят писать в пьесах — запру-ка я дверь каюты!

Итак: я узнал обо всем от Девереля. Он здорово запил — здорово даже по сравнению с тем количеством спиртного, которое он потреблял ранее,

ибо лейтенант никогда не отличался воздержанностью. По-видимому, Андерсон, напуганный не только моим дневником, но и общей неприязнью пассажиров, которые все как один, за исключением разве что железной мисс Грэнхем, считают, что «бедняжку Колли» довели до смерти — так вот, Андерсон, как я сказал, сорвал всю свою злость на Камбершаме и Девереле, принимавших участие в жестоком розыгрыше. Камбершаму все нипочем, он как дубовый. А вот Деверелю худо, по флотским законам он не может вызвать капитана на дуэль и потому горюет и пьет. Однажды ночью, надравшись как сапожник, он явился сюда, в каморку, и невнятным шепотом поведал мне, как он выразился, добавочные сведения для дневника. Про осторожность, однако, не забыл. Представьте, сидим мы бок о бок на койке, при свете свечи, я склонил голову чуть ли не на плечо Деверелю, а он яростно бормочет мне в ухо.

Дело в следующем: жило-поживало, да и посейчас живет некое благородное семейство — возможно даже, дальние знакомцы вашей светлости. Земли упомянутого семейства граничат с владениями Деверелей. Отец нынешнего лорда, как выразился бы Саммерс, наслаждался привилегиями, забыв об обязанностях, вслед-

ствие чего содержал подле себя даму, прекрасную во всех отношениях: добрую, красивую, невеликого ума, но, как оказалось, весьма плодовитую. Дворянский титул — вещь недешевая, и в один прекрасный день лорд Л. (прямо-таки ричардсонов Ловелас, не находите?) обнаружил, что ему нужно пополнить состояние, причем немедленно. Невеста с приданым отыскалась довольно быстро, но ее семейство с поистине уэслианской[48] строгостью потребовало избавиться от прекрасной дамы, которую, в сущности, можно было обвинить лишь в том, что священник не произнес над ней десятка положенных слов. Тучи сгущались. Прекрасная дама, обеспокоенная своим положением, начала демонстрировать недовольство, выгодная женитьба повисла на волоске! И тут, по словам Девереля, вмешалось само Провидение — священник одного из трех приходов, лежащих на землях семейства, убился на охоте. Гувернеру наследника — человеку на редкость скучному и занудливому — достался и приход, и прекрасная дама и, как изящно выразился лейтенант, ее треклятый груз. Лорд Л.

[48] Примечания: 48

Уэслианство (методизм) — возникшее в XVIII в. течение внутри протестантской церкви, названное по имени основателя, Джона Уэсли (1703–1791 гг.).

получил богатство, прекрасная дама — мужа, а преподобный Андерсон — приход, супругу, да еще и наследника в придачу. В положенное время мальчишку отослали в море, его настоящему отцу достаточно было несколько раз поинтересоваться судьбой сына, чтобы тот стремительно пошел вверх по служебной лестнице. Нынче, однако, старый лорд уже покинул этот мир, а его наследнику нет никакого дела до незаконнорожденного брата!

Рассказ сопровождался недовольными выкриками спящего Преттимена, храпом и пуканьем мистера Брокльбанка и криком вахтенных с верхней палубы: «Склянки восемь бьют — все в порядке тут!»

В довершение всего Деверель с пьяной фамильярностью обнял меня за плечи и признался, почему рассказывает эту историю. В Сиднейской бухте, а может быть, даже на мысе Доброй Надежды — если мы бросим там якорь — он, Деверель, намеревается — хотя я отношу эти намерения на счет булькающего в нем бренди — подать в отставку, вызвать капитана на дуэль и прикончить его с одного выстрела!

— Ведь я, — повысив голос и вскинув дрожащую руку, пояснил он, — ворону с колокольни

сбиваю!

Обнимая меня и похлопывая по спине, Деверель приговаривал, что добрый старый Эдмунд, конечно же, выступит на его стороне, а если, волею злодейки-судьбы, погибнуть суждено ему, Деверелю, то Тальбот запишет историю капитанского происхождения в свой дневник — всем на потеху. С огромным трудом мне удалось дотащить его до каюты так, чтобы не перебудить весь корабль. Да, это новость так новость! Вот почему капитан терпеть не может священников! Хотя здравый смысл подсказывает, что ему следовало бы ненавидеть дворян. Нет сомнений — Андерсона обидел старый лорд — или пастор — или судьба. Боже правый! Еще не хватало мне искать для него оправданий!

Да и за Девереля я уже не переживаю так, как раньше. Совершенно очевидно, что я его переоценивал. Он, по-видимому, олицетворяет собой упадок древнего благородного семейства, так же, как Саммерс, судя по всему, станет основоположником нового. Взгляды мои требуют пересмотра. Я даже поймал себя на мысли, что не будь я столь любезно одарен вами, милорд, я вполне мог бы податься в якобинцы. Я? Эдмунд Тальбот?

Тут я припомнил собственное намерение

свести Зенобию с преподобным Колли, чтобы избавиться от возможных последствий нашей с ней встречи, и исполнился презрением к самому себе. Розыгрыш вполне в духе Девереля. А ведь мы с ним об этом толковали, и он наверняка заметил мое сходство с тем самым лордом из благородного семейства. Я почувствовал, что краснею. Когда же это все кончится?!

И все-таки одно рождение не покроет две смерти.

Настроения на корабле тоскливые, потому что похороны, как затейливо их ни описывай, штука все-таки невеселая. Исчезновение Виллера тоже не прибавило пассажирам бодрости.

* * *

С тех пор как я, смущаясь, попросил Саммерса помочь мне стянуть сапоги, прошло два дня. Офицеры не сидят сложа руки. К примеру, Саммерс решил, что пассажиры с кормы тоже должны дать представление для всех остальных — словно бы мы гражданский, а не военный корабль. Уже создан комитет по подготовке праздника — с полного одобрения капитана! — что нежданно-негаданно отдало меня прямо в руки мисс Грэнхем! Опыт на редкость поучительный. Оказывается, эта красивая и достойная во всех от-

ношениях дама исповедует взгляды, от которых кровь стынет в жилах! Для нее нет разницы между офицерской формой, краской, которой наши первобытные предки расписывали свои тела, и татуировкой, что наносят на себя дикари южных островов и Австралии! Хуже того, эта дочь каноника не видит особых отличий между индийским колдуном, северным шаманом и католическим священником в его пышном облачении! Когда я указал ей, что было бы справедливо включить в их число и представителей нашей собственной церкви, она ответила, что наши, по крайней мере, не так разительно выделяются среди обычных людей. Я был огорошен, не нашелся что ответить, и понял, почему мисс Грэнхем говорила с такой сокрушительной прямотой, только перед обедом, когда они с мистером Преттименом объявили о помолвке! Разумеется, в таких обстоятельствах дама могла позволить себе говорить что вздумается! Но какими же глазами она на нас смотрела! Я со стыдом припоминал собственные высказывания на эту тему и чувствовал себя школьником перед строгой учительницей.

Известие взбудоражило всех. Можете представить, какие поздравления посыпались на обрученных и какое шушуканье поднялось у них

за спиной. Я понадеялся, что капитан Андерсон, угрюмейший из Гименеев, поженит их прямо здесь, на корабле, пополнив, таким образом, коллекцию церемоний, которые сопровождают человека в течение всей жизни — от колыбели и до могилы. Как ни странно, «молодые» действительно казались влюбленными друг в друга — видимо, сыграла роль схожесть во взглядах. Жаль, что Колли не дожил, посетовал Деверель — мог бы обвенчать их по всем правилам. В салоне тут же повисла напряженная тишина. Мисс Грэнхем, только что поделившаяся с вашим покорным слугой своими взглядами на духовенство вообще, могла бы и промолчать. Но вместо этого сурово заявила:

— Жалкий, низкий, падший человечишка!

— Полно, мадам… — вступился я. — «О мертвых или хорошо…» и так далее. Человек оступился разок — с кем не бывает? И человек-то, в общем, безобидный.

— Безобидный?! — почти что выкрикнул Преттимен. — Пастор — и безобидный?

— И я не о спиртном, — стальным голосом продолжала его невеста. — А о совсем другом пороке.

— Ну что вы, мадам… поверить не могу… вы,

женщина…

— Вы ставите под сомнение слова дамы, сэр? — выкрикнул мистер Преттимен.

— Нет-нет! Разумеется, нет. Я просто…

— Успокойтесь, дорогой, прошу вас, пусть его.

— Нет, я не могу этого так оставить! Мистер Тальбот при всех усомнился в ваших словах, и я требую извинений.

— Что ж, — засмеялся я, — вы получите их незамедлительно. Не имел в виду ничего…

— И это называется священник! — кипел мистер Преттимен. — О его пороке мы узнали случайно — два матроса перебрасывали веревочную лестницу с мачты за борт корабля, а мы с мисс Грэнхем стояли у той же мачты в переплетении веревок — как они там называются?

— Тросы? Выбленки? Давайте спросим у Сammерса.

— Не имеет значения. Помните, мисс Грэнхем, мы как раз обсуждали неизбежность процессов, благодаря которым всеобщая свобода приведет ко всеобщему равенству, а затем и к… хотя это тоже не имеет значения. Матросы не заметили нашего присутствия, так что мы невольно подслушали их разговор.

— Курение — уже зло, мистер Тальбот, но этот

человек зашел еще дальше!

— Помилуйте, мисс Грэнхем!

— Он приобрел привычку, которой могут похвастаться разве что темнокожие дикари!

— Неужто табак жевал? — тоном величайшего изумления обратился к ней Олдмедоу.

Его слова потонули во взрыве хохота.

— Так и есть, — вмешался в разговор Саммерс, который не присоединился ко всеобщему веселью. — В один из своих визитов, я обнаружил у пастора большую коробку листового табака. От сырости он покрылся плесенью, и я выбросил его за борт.

— Какой еще табак! — удивился я. — Я ничего такого не заметил. Да и не тот он был человек, чтобы…

— Уверяю вас, сэр. Это случилось еще до вашего первого прихода.

— Вот видите! — обрадовался Преттимен. — Тяга к образованию, природная смекалка и постоянная необходимость быть начеку воспитали во мне привычку с легкостью запоминать любые беседы. В том числе и тут, на корабле.

— Нет-нет, пощадите, — просительно воздел руки Саммерс. — Сейчас не время для подобных воспоминаний.

— Самое время, сэр, коли словам дамы… я просто не могу оставить все как есть. Так вот, один матрос сказал другому: «Билли Роджерс приперся от капитана, грохоча от смеха, как трюмная помпа. Пошел по нужде и говорит — а я с ним рядом присел, — много, говорит, чего я в жизни видел, но чтобы пастор мне отжевал — о таком и думать не думал».

Торжествующий и яростный взгляд мистера Преттимена, его растрепанная шевелюра и неожиданная, но точная имитация грубого матросского говора привели аудиторию в восторг. Радостное улюлюканье обескуражило философа, он растерянно закрутил головой. Этот забавный эпизод переменил общий настрой. Неожиданно все принялись обсуждать будущее представление. То ли вид мистера Преттимена навел на мысль о комедии, то ли… Кстати, вот и актер на комические роли! Благодаря всеобщему подъему, разгорающаяся ссора между вашим покорным слугой и Преттименом угасла сама собой, уступив место гораздо более приятному разговору о том, что будем ставить, кто будет ставить и так далее, и тому подобное.

Затем я, как обычно, пошел прогуляться по шкафуту и встретил — кого бы вы думали? — «мисс

Зенобию», поглощенную беседой с Билли Роджерсом! Ну разумеется — вот он, тот самый «бравый маряк», который «не может больше ждать». С каким однако пылом написано его безграмотное, но цветистое письмо! Что ж, если сунется за белую линию, к Зенобии в каюту, получит линьков.

Мистер Преттимен и его невеста гуляли по другой стороне палубы, поглощенные беседой. Мисс Грэнхем громко, так, чтобы я слышал, рассуждала о том, что действовать надо сперва на молодых и неопытных чиновников, еще не испорченных всеобщей продажностью. Коротышка Преттимен трусил рядом с ней, согласно кивая в такт ее на редкость здравым, хотя и чересчур строгим рассуждениям. Что ж, эти двое стоят друг друга; судя по всему, они действительно влюблены настолько, насколько это возможно для таких необычных личностей. Ага, вот вы и попались, мисс Грэнхем! Теперь я буду присматривать не столько за вашим женихом, сколько за вами!

Жених и невеста пересекли белую линию, разделяющую сословия на корабле, и остановились на носу побеседовать с мистером Истом и его бледной юной женой. Вернувшись, они направились прямиком ко мне, в тень навеса, который был натянут у правого борта. К моему

изумлению, мисс Грэнхем объяснила, что они советовались с мистером Истом! Оказывается, он искусный ремесленник и имел дело с печатными станками. Думаю, они собираются нанять его на работу. Я постарался не показать, какой интерес вызвало у меня это заявление, и сменил тему, спросив, какую пьесу мы собираемся показать народу. Мистер Преттимен проявил к постановке столь же малый интерес, сколь и к другим делам — он якобы полностью погружен в свою философию. Правда, забраковал Шекспира, так как тот, по его словам, уделял слишком мало внимания общественным порокам. Я резонно заметил, что общество состоит из людей, но собеседник меня просто не понял — между его незаурядным умом и обычным здравым смыслом будто стоит невидимая преграда. Преттимен начал было ораторствовать, но его искусно отвлекла мисс Грэнхем, сказав, что «Фауст» Гете, по ее мнению, отлично подойдет.

— Жаль однако, — добавила она, — что талантливое произведение нельзя без потерь перевести с одного языка на другой.

— Как-как, мадам?

— Я имею в виду, — терпеливо, будто обращаясь к одному из своих воспитанников, разъяснила

мисс Грэнхем, — что гениальность пьесы при переводе несколько теряется.

— А вот тут, — улыбаясь, ответствовал я, — могу возразить вам с полным на то правом. Мой крестный перевел на английский Расина и, по словам знатоков, перевод не хуже, а кое-где даже лучше оригинала!

Собеседники разом остановились, обернулись и воззрились на меня с совершенно одинаковым выражением на лицах.

— В таком случае должен уведомить вас, что это редчайший случай, — со своей обычной лихорадочной убежденностью воскликнул мистер Преттимен.

— Так оно и есть! — с поклоном ответил я.

С этими словами и вторым поклоном — в сторону мисс Грэнхем — я оставил их, чувствуя себя победителем. Честное слово, парочка настолько самоуверенна, что так и тянет их поддразнить. Хотя не исключаю, что других та же самая самоуверенность может и напугать. Пока я писал последние строки, они прошли мимо моей каюты в пассажирский салон, и я услышал, как мисс Грэнхем говорит о ком-то:

— Будем надеяться, со временем поумнеет!

— Если не брать во внимание среду, в которой

он родился и вырос, сам по себе он не безнадежен.

— Согласна. В разговорах всегда старается свести противоречия к шутке и смеется так заразительно, что собеседнику трудно устоять. Но что касается взглядов — о, это просто какая-то дикость!

С этими словами они прошли дальше, так что больше я ничего не услышал. Вряд ли имелся в виду Деверель — несмотря на то, что лейтенант действительно любит позубоскалить, его происхождение безупречно, хотя он мало что вынес из своих привилегий. Скорее, речь шла о Саммерсе.

* * *

Не знаю, как заставить себя писать дальше. Цепочка событий кажется слишком тонкой, каждое звено в отдельности — слишком слабым, однако что-то в моей душе настаивает, что передо мной именно звенья одной цепи, глядя на которую, становится понятно, что случилось с бедным, бестолковым Колли! Всю ночь я не мог заснуть от жары и беспокойства, сознание металось, как в лихорадке, снова и снова подкидывая мне обрывки разговоров, фразы, ситуации, которые складывались в картину одновременно курьезную, непристойную и трагическую.

Саммерс, должно быть, обо всем догадался. Никакого табака, конечно же, не было, просто лейтенант хотел защитить память покойного.

Во время допроса Роджерс с притворным, как мне показалось, изумлением переспросил меня: «А что мы натворили, милорд?» Притворным ли? Возможно, этот красивый какой-то животной красотой матрос говорил чистую правду. Ведь именно его Колли именует повелителем и мечтает пасть перед ним на колени. Колли, в кубрике, первый раз в жизни пригубивший спиртное, не осознающий, что с ним происходит и впавший в восторженное безумие… Роджерс, присевший по нужде и хохочущий над тем, о чем он и думать не думал… Разумеется, он не просто дал согласие, но и глумливо поощрял пастора впасть в этот нелепый, дурацкий, школярский грех, и все-таки именно Колли, а никак не Роджерс, совершил fellatio,[49] отчего и умер, когда понял, что натворил.

Бедный, бедный Колли! Отброшенный назад, на свое изначальное место, ставший посмешищем на экваторе, отринутый мною, человеком, который мог его спасти, замороченный добрым

---

[49] Примечания: 49
Fellatio (лат.) — оральная стимуляция полового члена.

отношением и стаканом-другим горячительного. Даже в приступе лицемерия я не смог бы оправдать себя тем, что не видел, как его чуть не утопили во время представления. Ведь если бы видел — наверняка бы выступил против этой детской жестокости. А последовавшее за тем предложение дружбы стало бы искренним, а не… Надо написать письмо мисс Колли. Ни слова правды. Сочиню, как мы дружили с ее братом — все крепче день ото дня, как я любил его, как горевал, когда он умер от слабости, вызванной нервной горячкой.

Письмо, *лживое* с первого до последнего слова. Как оно вам в качестве начала службы на благо королю и отечеству?

Надо подумать и над тем, как увеличить скромную сумму денег, которые будут ей возвращены.

Вот и последняя страница дневника, и одновременно «приложения». Только что я небрежно пролистнул все остальные. Интересные происшествия? Забавные наблюдения? Острота ума? Что ж, пожалуй. Сдается, у меня вышло нечто вроде морской повести, правда, какой-то странной: без штормов, без кораблекрушений и утопленников, без жарких боев, бортовых залпов и трофеев, без героических оборон и триумфальных побед.

Раздался только один выстрел — да и тот из мушкета.

Обо что только не споткнешься в себе самом! Расин сказал… А не процитировать ли мне ваш собственный перевод?

> *Проступок должен быть предтечей преступленья:*
>
> *Кто может правило нарушить без зазренья,*
>
> *Нарушит и закон, когда придет пора.*
>
> *Свои ступени есть у зла, как у добра.*[50]

Верно подмечено, да и как может быть иначе? Именно неприметность ступеней позволяет всем брокльбанкам нашего мира оставаться на плаву, двигаясь к полной потере человеческого облика, ужасающей всех, кроме них самих! А вот Колли был сделан из другого теста. Подобно тому, как подкованные железом каблуки, предательски простучав по всем ступеням трапа, сбросили владельца на шкафут, так и стопка ядовитой влаги низвергла пастора с высот его положения в тот кошмар, который он почитал более страшным, чем адское пламя — а именно осквернила чистоту

---

[50] Примечания: 50
Расин, Жан Батист, «Федра» (пер. М. Донского).

и неприкосновенность сана. Возможно, я плохо понимаю людей, но одно теперь знаю точно: человек действительно может умереть от стыда.

Тетрадь подходит к концу, осталась лишь узкая полоска чистой бумаги. Я замкну дневник на ключ, обошью, как смогу, парусиной и запру в самый дальний ящик. От недосыпа и слишком долгих размышлений я чуть тронулся умом, как и любой мореплаватель, вынужденный жить бок о бок с себе подобными, а значит, и со всеми их пороками, какие только существуют под солнцем и луной.

МОРЕХОДНЫЕ ТЕРМИНЫ

(В глоссарии даны только те значения терминов, которые применимы к деревянным парусным судам).

Бак — носовая часть палубы вперед от фок-мачты (передней мачты); надстройка в носовой части палубы, называемая иногда полубаком.

Бакборт — левая сторона (борт) судна, смотря с кормы на нос.

Бакштаг — курс парусного судна, при котором его диаметральная плоскость составляет с линией ветра угол более 90° и менее 180°.

Банка — скамейка, сиденье (обычно на шлюпке).

Бизань-гафель — гафель на бизань-мачте.

Бизань-мачта — последняя, третья мачта (на трехмачтовом судне), считая с носа.

Бимс — поперечный деревянный брус между бортами; на бимсы настилаются палубы.

Бом-брамсели — верхние паруса.

Бушприт — горизонтальное или наклонное дерево, выдающееся с носа судна; служит для выноса вперёд носовых парусов и для подъёма,

крепления и отдачи носового якоря.

Бык-гордень — снасть бегучего такелажа нижних парусов; служит для подтягивания середины паруса к рею.

Ванты — снасти стоячего такелажа, которыми укрепляются с боков и сзади мачты, стеньги и брам-стеньги.

Верпование — передвижение судна с помощью завозов на шлюпке верпа — небольшого якоря.

Выбленки — концы тонкого троса, укрепленные поперек вант параллельно друг другу и выполняющие роль ступенек.

Вымбовка — деревянный рычаг, служащий для вращения шпиля вручную.

Выстрел — длинное рангоутное дерево, укрепленное концом снаружи борта против фок-мачты.

Галс — курс судна относительно ветра.

Гафель — рангоутное дерево, висящее на мачте под углом; служит для крепления некоторых парусов.

Гик — горизонтальное рангоутное дерево, по которому растягивается нижняя шкаторина некоторых парусов.

Грот — прямой парус, самый нижний на грот-мачте.

Грот-мачта — вторая мачта, считая от носа.

Кница — деревянная деталь, имеющая две ветви; используется для соединения бимсов со шпангоутами.

Кофель-нагель — железный штырь для крепления снастей.

Кранцы — деревянные или веревочные вальки, свешиваемые за борт для предохранения корпуса судна от трения о причал или другое судно.

Кренговать — кренить, наклонять судно набок в целях осмотра, окраски и исправления подводной части.

Леер — туго натянутая веревка, у которой оба конца закреплены; леера служат для разных целей — для постановки некоторых парусов, для просушки белья, могут выполнять роль поручней.

Мидель — «средний», обычно миделем называют средний по длине судна шпангоут.

Нактоуз — деревянная полая тумба, на которой устанавливается судовой магнитный компас.

Полувахта — вахта, которая длится не четыре, а два часа; в английском флоте их две: «первая полувахта» — с 16.00 до 18.00, «последняя полувахта» — с 18.00 до 20.00.

Порты — отверстия в борту судна: для погрузки

товаров — грузовые, для стрельбы из орудий — орудийные (пушечные).

Рангоут — собирательное слово для обозначения всех деревянных частей корабля, используемых для крепления парусов; рангоутом называют мачты, стеньги, реи, выстрелы и т. д.

Рей — поперечное рангоутное дерево, подвешенное за середину к мачте или стеньге; служит для привязывания к нему парусов.

Румб — 1/32 часть окружности видимого горизонта, то есть угол, равный 1Г15'.

Скула — изгиб на корпусе судна, где борт, закругляясь, переходит в носовую заостренную часть.

Стеньга — рангоутное дерево, служащее продолжением мачты и идущее вверх от нее; в зависимости от принадлежности к той или другой мачте, стеньгам присваиваются дополнительные наименования: на фок-мачте — фок-стеньга (или фор-стеньга).

Такелаж — все снасти на судне, служащие для укрепления рангоута и для управления им и парусами.

Тали — грузоподъемное приспособление, состоящее из двух блоков (подвижного и неподвижного), соединенных между собой тросом.

Талреп — род талей или натяжной винт для вытягивания стоячего такелажа или стягивания груза.

Топ — вершина вертикального рангоутного дерева, например, мачты или стеньги.

Траверз — направление, перпендикулярное к курсу судна или к его диаметральной плоскости.

Трал — зд: приспособление для исследования дна, состоящее из связанных между собой тросов.

Фальшборт — верхняя часть борта судна, борт выше верхней палубы.

Фок-мачта — передняя мачта корабля.

Шканцы — часть палубы между грот — и бизань-мачтой.

Шкаторина — обшитая тросом кромка паруса.

Шкафут — пространство на верхней палубе между грот — и фок-мачтами.

Шпангоут — поперечное ребро корпуса судна.

Шпигат — отверстие в фальшборте или палубной настилке судна для удаления с палуб воды и проводки некоторых снастей.

Шпиль — вертикальный ворот, устанавливаемый на судах для работ по тяге тросов и цепей, например, для подъема якоря.

Ют — кормовая часть верхней палубы, позади

бизань — мачты.